

Сергей
Малицкий



КАЖДЫЙ
ОХОТНИК

Сергей Малицкий

Каждый охотник (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6696535

Аннотация

Рассказы и повесть. Реальность, сплетенная с мистикой, упрочняется, но пасует перед эфемерностью снов. Прошлое волочится за спиной как парашют. Любовь не дается в руки, но дышит. Эрос как вкус сущего. Двадцать девять текстов.

При оформлении обложки использован фрагмент картины «Пикник», художник – Андрей Мещанов.

Содержание

Каждый охотник	5
01	5
02	7
03	8
04	10
05	13
06	17
07	20
08	25
09	26
10	28
11	32
12	36
13	39
14	41
15	44
16	47
17	50
18	52
19	55
20	59
21	63
22	66

23	68
24	74
25	77
26	79
27	82
28	84
29	86
30	89
31	91
32	92
33	97
34	99
35	103
36	104
37	105
38	107
39	108
40	110
Баг	112
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Сергей Малицкий

Каждый охотник

(сборник)

Каждый охотник

*"Нет, дружочек! – Это проще,
Это пуще, чем досада!"*

Марина Цветаева

01

Время в наших краях густое. Словно в лодке лежишь, шуршит по днищу, не переставая, а закроешь глаза, унесет неведомо куда, замучаешься возвращаться. Главное – не попасть в туман. Серега-болтун как-то попал, вернулся к полудню – волос белый, лицо в морщинах, руки трясутся, на плече татуировка – баба с рыбьим хвостом. Неделю озерную воду через тростниковую трубку сосал, пока не оклемался. Потом еще с полгода вспоминал, кого как зовут. Ничего, выдюжил. Волос снова потемнел, руки окрепли, лицо разгла-

дилось, даже улыбка образовалась. Вот только татуировка не сошла, да болтливость не вернулась. Раньше, бывало, Серега прохода не давал, по сотне раз одну и ту же байку каждому встречному-поперечному пересказывал, а теперь примолк. И не так молчит, как будто память ему отбило, а так, словно знает много, да говорить не велено. Или нечем. Я даже язык его показать просил. Показал. Обычный язык. На месте.

Никто не верил, что Лидка за меня пойдет. Я плавать не умею. Воды боюсь. Болтун, когда еще болтуном был, вдоволь надо мной покуражился. Проходу не давал. Ветра, спрашивал, ты не боишься? А рыбы? А тростника?

– Нет, – улыбался я ему по десять раз на дню. – Ветра я не боюсь, Серега. Ветер легкий, а я тяжелый. И рыбы я не боюсь. Где она, твоя рыба? Ту, что не вижу, в воде, чего ее бояться? А ту, что вижу – или дохлая на берегу валяется, или на сковородке скворчит. И тростника не боюсь, я из него циновки вяжу. А воды боюсь.

– Почему? – не понимал Серега.

– У нее края нет, – отвечал я. – И дна.

– Есть дно, есть! – орал он и порой даже прыгал с берега, показывал черные от ила пятки.

– Глубже зайди, глубже, – предлагал я ему.

– По воде не ходят, по ней плавают! – ржал Серега. – Ты же не лодка.

И добавлял, стирая пучком травы с пяток ил:

– Циновки он плетет... Половички, а не циновки.

Да как ни называй. Их все равно никто не покупает. Лидка велела их в сарай складывать. Я и складываю.

– Папка, а море какое?

Файка как раз в вопросительном возрасте. Пять лет, как пять пальчиков, ни убавить, ни прибавить.

– Море? – я откладываю в сторону плетение. Не получается в этот раз вытащить рисунок. Или тростник блеклый, или пальцы не слушаются. – Море, Файка, соленое.

– Горькое? – жмурится Файка.

– Нет, – терпеливо поправляю я, – соленое – это соленое. А горькое – это горькое. Ну, смотри. Горчица горькая.

– Горчица гадкая и жгучая, – брезгливо морщится Файка.

– Хорошо, – с Файкой лучше не спорить, нальет глаза слезами, с чем угодно согласишься. – Горькое – это гадкое. А море соленое. В нем соли много.

– А если наше озеро посолить? – Файка опять начинает жмуриться. Она всегда жмурится, когда что-то затевает. Глаза Файку выдают, обо всех ее хитростях оповещают – или блестят, или бегают, или тарашатся, поэтому она жмурится. Или закрывает глаза ладошками. Серега, когда еще болтуном был, рассказывал, что далеко на севере живут белые мишки, которых выдает на снегу черный нос. Так вот они, когда подкрадываются к полынье, чтобы поймать рыбу или тюленя, закрывают нос лапой. Я пересказал эту историю Файке. Теперь Файка закрывает ладошками глаза. Но это уж

в тех случаях, когда тайна так и рвется наружу.

– Море не получится, – огорчаю я Файку. – Во-первых, соли нужно очень много. Во-вторых, если посолить озеро, только озеро и получится. Просто будет соленым. Ну, и наконец, а о тварях озерных ты подумала? Они же тут же все передохнут!

– А если с краешка? – она собирает крохотные пальчики в щепотку. – Если совсем чуть-чуть? Чтобы не все озеро в море превращать, а только кусочек?

– Тогда, – мне не хочется обрывать Файкину мечту, – тогда это будет очень маленькое море. Крохотное.

Наш остров маленький. Нет, конечно, бывают и еще меньше, взять клочок земли того же Кузи Щербатого, даже дом не помещается, под кухней сваи в ил забивать пришлось, чтобы дом с острова не сполз, ну так и народу у нас побольше, чем на острове Щербатого. Да и дома три, а не один. С одной стороны острова лачуга болтуна, с противоположной – маяк Марка, в центре наш дом. Ну, не в центре, чуть в стороне, в центре родник из земли бьет, да все одно, считай, что в центре, до дома болтуна пятьдесят шагов, до Марка пятьдесят восемь. Да на окрестные стороны по паре десятков шагов всяко будет. Кирьян-торговец смеется, как ты, улыбочивый, за Лидкой своей следишь? Будешь халупу от болтуна оборонять – Марк тебя оплетет, станешь Марка стеречь, болтун сваю под тебя подобьет. Никак, смеюсь в ответ. Зачем им Лидка? У Лидки семь дочек, кому охота семь довесков заполучить? Шесть, – отчего-то начинает загибать пальцы Кирьян, – Ксения, Ольга, Жанна, Зинаида, Галина, Софья. Шесть?

– Семь, – смеюсь я. Файка ползает у моих ног, лепит куличики из песка, ковыряет в носу грязным пальцем, чихает как котенок, окунувший в молоко мордочку.

– Да хоть восемь, – кривит лицо Кирьян. – Лидка сказала, что часы у вас встали. Батарейки будешь брать? Или часы

обновишь?

Я вытаскиваю из кармана мелочь, передвигаю на ладони монеты от безымянного пальца к большому.

– Не хватит на часы.

– Хватит, – уверенно говорит Кирьян и подает лодку к берегу. Половина лодки застелена досками, на досках товар. Банки, крышки, чашки, ножи, ложки, веревки, батарейки, гвозди, молотки, спички. На носу лежат часы. Круглые, с цифрами, в золотом ободке, Лидка как раз такие и хотела. Повесить в обеденном зале на стену в самый раз.

– Ходят? – сомневаюсь я.

– Сейчас, – успокаивает меня Кирьян, наклоняется, вытягивается над товаром, подхватывает часы, отщелкивает крышку, вставляет батарейку, показывает циферблат. Стрелки уверенно ползут слева направо. Не прыгают, не отщелкивают, а ползут, вкручиваются буравчиком в мою голову. Бесперывно. До боли.

Я отшатываюсь назад. Закрываю глаза ладонью.

– Стрелки почему не прыгают?

– Такие часы, – не понимает меня Кирьян. – Зато и не тикают. Но время точно показывают. Будешь брать?

– Нет, только батарейки.

Я протягиваю Кирьяну ладонь. Торговец сбрасывает с нее нужное количество никеля, подает мне пару батареек в пластике, отталкивается веслом от берега.

– А за Лидкой следи, – подмигивает мне обоими глаза-

ми. – Дело ж не в довесках. Когда жеребец на кобылу смотрит, что ему телега, в которую она запряжена?

– Где ты видел жеребца? Кобылу? Телегу? – кричу я ему.

– В Городе, – уже издали откликается Кирьян.

– Папка, – дергает меня за штанину Файка. – Я хочу лошадку посмотреть.

Город на Большом острове. Точнее, весь Большой остров – Город. Он рядом. Не совсем рядом, полкилометра, но что там полкилометра, если Город сам километр на полтора? Я нагружаю лодку циновками, накрываю их мешковиной. Сажая Файку на корму. Файка в надувном круге-уточке. Глаза у нее блестят, и она уже готовится закрывать их ладошками. На мне спасательный жилет. Над спасательным жилетом смеются все, кто меня знает. И кто не знает, тоже смеются. И пусть смеются, что мне их смех? Я сам смеюсь, не переставая. Я не утонуть боюсь, я боюсь Файку одну оставить. Файку, а так же Ксению, Ольгу, Жанну, Зинаиду, Галину, Софью. Хотя, толку от меня не много, всю семью тянет Лидка. И от этой мысли я и в самом деле начинаю тонуть. Изнутри.

Файка сидит на корме, чертит ладошкой озерную воду и посматривает мне за спину. Я гребу. Лодка движется плавно, но неведомо куда. Куда – знает Файка. Она должна предупредить меня о других лодках и плавучих островах. Но Файка чертит озерную воду и второй ладошкой закрывает глаза. Я оглядываюсь. Так и есть, забрал влево, еще немного и воткнулся бы в кочку Кузи Щербатого. Кузя щерится на меня из открытого нужника. Нужник у Кузи устроен тоже на сваях. Хотя, чего там было устраивать? Отгородил закуток, вырезал дырку в полу, поставил стульчак. Сиди, получай

удовольствие, а откроешь дверцу, удовольствие будет двойным. В руках удочка. На удочке леска. На леске поплавок да крючок. На крючке наживка. Прошлый улов, пропущенный через Кузины кишки, падает в воду, новый улов насаживается на крючок тут же.

– Кузя! – порой кричит Щербатому Кирьян. – Ты что, рыбу прикармливаешь?

– Нет, – откликается из нужника Кузя. – Остров свой увеличиваю. Земли у меня мало!

Ему бы Филимона позвать для увеличения острова. Филимон в два раза больше Кузи. Он бы ему точно остров увеличил. Но Филимон в Кузин нужник не войдет. А войдет, так свай в ил собственным весом загонит. Так загонит, что Кузе по колена в воде сидеть придется. К тому же у Филимона и собственный остров не шибко большой. Нет, придется Кузе самому свой остров увеличивать. Интересно, правда ли, что он гальку глотает, чтобы новые части острова не расплывались по озеру?

– А что он делает? – спрашивает Файка.

Я продолжаю грести и уже вижу остров Филимона, который приближается по правому борту. Филимон гончар. Остров у него глинистый, из этой глины Филимон лепит горшки. Потом обжигает их в печи. Дрова на растопку печи Филимону поставляет как раз Кузя. Кузя плавщик. Плавник собирает. На всякую деревяшку, что в воде плавает, как ястреб бросается. Случалось, прямо из нужника выпрыгивал, шта-

ны забывал надеть. Выловит, на крышу отволочет, сушит. Если начинается дождь, грозит небу кулаком. Продает Кузя деревяшки недорого, но Филимон отдает ему за дрова горшки и ругается на Щербатого. Тот перепродает Филимоновы горшки в городе и перепродает по той же цене, что и Филимон, но в отличие от последнего не требует с покупателей к цене полведра земли или камней или осколки от такого же разбитого горшка. Поэтому горшки покупают у Щербатого в первую очередь. А стребовать с Щербатого за горшки землю или камней Филимон не может, потому как у того у самого остров меньше кукиша, да и не деньгами Щербатый Филимону за горшки платит, он ему дрова поставляет. И понимает Филимон, что никак ему Щербатого не сковырнуть, а все одно злится, остров-то у него маленький, изведешь его весь на горшки, а жить потом где?

– Кузя дрова ловит, – отвечаю я Файке.

– А Филимон? – смотрит в другую сторону Файка.

– Филимон лепит горшки, – говорю я. – Горшки, тарелки, миски.

– Зачем? – не понимает Файка. – Зачем их лепить, если их можно у Кирияна купить?

Хороший вопрос. Каждая дочь в пять или шесть лет задавала мне его. Зачем ты плетешь циновки, отец? И каждой я отвечал одно и то же, так надо (Ксения, Ольга, Жанна, Зинаида, Галина, Софья, Фаина).

– Кому надо? – был следующий вопрос.

– Во-первых, он хочет заработать, – отвечаю я Файке. – Во-вторых, он хочет, чтобы его остров хотя бы чуть-чуть увеличился.

– Он из острова горшки лепит? – спрашивает Файка.

– Из острова, – отвечаю.

– То есть, Филимон расходует остров, чтобы его увеличить? – пытается докопаться до истины Файка.

– Получается так, – пожимаю я плечами, не переставая грести.

– Странный он, – жмурится Файка. – Хотя, я ведь тоже такая. Чтобы у меня появилась новая конфетка, мне нужно съесть ту, что у меня уже есть. Ведь так?

– Так, – смеюсь я. – И где же твоя старая конфетка?

Фантик шуршит, рот захлопывается, и конфетка обозначается изнутри Файкиной щеки.

– Нету!

– Держи новую.

Я не люблю Город. Он грязный. Слишком много домов, слишком много людей. Но в городе Школа, куда я вожу дочерей. Летом на лодке. Зимой по льду на санках. На санках Софью и Галку. Остальные добираются на лыжах или, если лед чистый, на коньках. Галка со следующего года тоже встанет на лыжи или на коньки. Файку пока не вожу. Она еще маленькая. Ей работать моим хвостиком еще целый год, а то и два.

Еще в Городе есть Завод, где работает Лидка и многие другие. Где и я пытался работать, но у меня не вышло. В Городе Контора, где заполняются всякие важные бумаги. Комитет, который предписывает и запрещает. Управа, которая всем управляет. В Городе много чего – Газета, Милиция, Суд, Тюрьма, Магазины, Техникум, Больница. И в Городе Рынок, на котором я изредка продаю циновки. Лидке не нравится слово "продаю", Она настаивает, что я не "продаю циновки", а "пытаюсь продавать", причем "безрезультатно". Она не против того, чтобы я плел циновки и сидел с ними на рынке, но желает точности в определениях.

– Где лошадка? – крутит головой Файка.

"Я – лошадка", – хочется мне ответить дочери, потому что связку циновок от пристани я тащу на себе. Обычно ее удаётся пристроить на тележку к Филимону, но сегодня я задер-

жался, и Филимон уже со своими горшками на месте. Мы торгуем на аппендиксе, в ряду для народных промыслов. Народу там мало, зато места бесплатные. Филимон грустный, его горшки блестят новой глазурью, но покупателя нет. Он равнодушно смотрит, как я раскатываю по серым доскам цинновки, и явно собирается сказать какую-то гадость. Я его опережаю:

– Привет, Филимон. Кирьян сказал, что в городе лошадь появилась. Не видел? Файке хотел показать.

Пару минут Филимон смотрит на меня как на идиота, потом зло сплевывает и выщелкивает из портсигара сигарету. Портсигар – гордость Филимона. Внутри него сигареты, снаружи кнопка. Нажмешь – из уголка портсигара появляется язычок пламени. Красиво. Был бы у меня такой портсигар, я бы тоже курил. А так-то, никакого смысла. Опять же расходы.

– Я отойду на час, – лениво бросает Филимон через плечо. – Посиди тут. Цену на горшки знаешь. Скоро буду.

Сунул крепкие пальцы с глинистыми полосками по заусенцам в карманы, зашагал в сторону Завода. Плохо дело, Если пошел на Завод, да еще злой, значит без торговли уже с неделю. У Филимона жены нет. Его никто не тащит по жизни, он сам тащится. Не продаст горшок, ляжет спать голодным. Понятно, что вокруг его острова не одна верша закинута, но лишь рыбой сыт не будешь. С другой стороны, детей у Филимона нет. А на себя можно и наплевать. Правда,

сначала надо выпить.

Я заглядываю под стойку. Файка уже на любимом месте, в тенечке, на пачке тех циновок, что я уже и не предлагаю. Лежит, тычет пальцами в электронную игрушку, укладывает корявые фигурки друг на друга, поворачивается ко мне:

– Что с лошадкой?

– Пока ничего, – отвечаю я и вздрагиваю от прикосновения.

– С кем вы там?

– С кем?

Я выбираюсь из-под стойки и вижу...

– Вы...

– Я? – она недоуменно сдвигает брови, потом называется. – Маша. Если вы об имени, конечно.

Я выбираюсь из-под стойки и вижу, оказывается, Машу. Она среднего роста, стройная, без излишеств и без недостатков. У нее милое лицо, русые волосы, нос с маленькой горбинкой, полные губы. От нее пахнет озером, и ее платье надето на мокрое тело. Я, как дурак, пялюсь на ее грудь.

– Там дочь.

– Дочь, – она удивляется и зовет. – До-о-очь! Ты что там делаешь? Как тебя зовут?

– Файка! – словно новогодняя хлопушка выстреливает Файка из-под стойки, прикусывает нижнюю губу и пускает слюну, что бывает с нею только в минуты предельного восторга. – Я там играю в тетрис! И еще папа обещал мне показать лошадку!

– Лошадку? – удивляется Маша. – Разве в Городе есть лошади?

– Ему Кирьян-торговец сказал, что есть, – тут же выкладывает Файка и прячется под стойкой. На ближайšie десять

минут ее смелость израсходована.

– Понятно, – заговорщицки кивает Маша и переводит взгляд на горшки. – Где гончар?

– Отошел? – расплываюсь я в привычной улыбке и слушаю. Слушаю ее обоими ушами, но каждым ухом по разному. Одним ухом слышу голос, другим пытаюсь понять смысл произносимых ею слов. И почему-то не отвечаю ей, а спрашиваю в ответ.

– Вы можете мне помочь?

– Помочь?

"Ну перестань же, перестань улыбаться, как идиот!" – твержу я себе.

– Да. Сколько стоит вот этот горшок?

– Двести рублей?

– Двести рублей, – она выбирает из ряда коричнево-зеленоватых крынок ту, что облита глазурью щедрее других, протягивает мне две сторублевки и объясняет. – Молоко из крынки другое. Пробовала и из пакета, и из банки, и из бидона – все не то. Только из крынки!

Я, кажется, киваю. Лицо от улыбки вот-вот парализует. Она опускает крынку в пакет и из вежливости подходит к моим циновкам. Я убираю локти, встаю. Возвышаюсь над нею на половину головы и примерно лет так на двадцать – худой, нескладный, неудачливый. Или неудачный? Нет, неудачный, но удачливый. Все-таки семь дочек.

Верхняя циновка самая яркая – я красил тростник разно-

цветными чернилами, а потом собирал из него что-то вроде орнамента, в котором кружочки и квадраты пересекают друг друга до мельтешения в глазах, и тайком покрывал Ксюхиным лаком для волос. Мне самому не нравятся такие циновки, но покупателю нужно яркое. Всегда нужно что-нибудь яркое. Циновки, правда, в последнюю очередь.

– Сколько? – скучнеет она на глазах.

– Пятьдесят рублей, – говорю я в ответ и тут же понимаю, что меньше. Ну, конечно же меньше.

– А можно я посмотрю еще? – спрашивает она из вежливости.

Конечно можно, теперь уже скучнею я. Те, которые снизу, лучше, но они некрашенные. Все оттенки – золотой, почти белый, желтый, серый, коричневатый и зеленоватый. Те цвета, которыми одарило тростник солнце и обычная вода. Все.

Она осторожно отворачивает мою старательную яркость в сторону и замирает. Смотрит долго, минуту, другую, потом поднимает взгляд к небу, в котором висит палящее солнце, и отходит в сторону, чтобы ее тень не легла на рисунок. Я приглядываюсь. Да, на солнце циновка блестит, но солнце слепит. Нужно смотреть в пасмурную погоду. Тогда все становится тем, чем должно. Солнца в сухом тростнике и так предостаточно.

Она возвращается назад, поднимает яркую циновку, держит ее в руках так, чтобы прикрыть тенью ту циновку, которая лежит верхней в пачке, потом поднимает взгляд на меня.

– Почему я?

– Вы? – я наклоняюсь над циновкой и вижу там Машу. Да, на рисунке она. Белесыми и серыми линиями – вода. Зелеными линиями поперек воды – тростник. В просветах между тростинок золотом – Маша. Силуэт, лицо – все ее.

– Это Сиринга, – кашляю я. – Наяда. Из мифа.

– Это я! – приподнимается она на носках и шепчет мне прямо в лицо. – Я! Да смотрите же вы!

– Да, – соглашаюсь я. – Очень похоже. Совпало.

– Беру обе, – оставляет она на стойке сто рублей. – Вот эту яркую на пол брошу, на крыльцо. И буду надеяться, что ее затопчут как можно быстрее. Не делайте так больше. А вот эту себе. Только...

Она накрепко зажмуривает глаза и скатывает выбранные циновки в трубку, не глядя. Так же не глядя, подхватывает со стойки пакет с крынкой и открывает глаза, только уже сделав шаг в сторону. Я не могу оторвать взгляда от ее стана.

– Боюсь опять увидеть яркое. Загляну еще. Высмотрю что-нибудь.

– Папка, – высовывается из-под стойки Файка. – Мороженое купишь?

– Купишь, – ошалело отвечает папка.

Больше ни одного покупателя.

– Ну что, – появляется через два часа Филимон. – Продал что-то?

Я кладу перед ним двести рублей.

– И то хлеб, – радуется Филимон и показывает тяжелый промасленный мешок размером с его голову. – Я тоже с добычей.

– Что это? – интересуюсь я.

– Подшипники, – отвечает Филимон. – Шарики от подшипников. Не шибко большие, миллиметров по пять, то что надо. В масле, зато не ржавые. Одна приятность – что на пальцах, что на языке.

– На языке? – я не могу понять. – Зачем тебе шарики от подшипников.

– Как зачем? – удивляется Филимон. – Кузе Щербатому. Ему надоело гальку глотать. Толку мало. Да и непроходимость в животе у него какая-то образовывается. Да и найди эту гальку. На городском пляже и горсть песка с собой не унесешь. Досматривают!

Мы идем с Файкой к лодке. Я тащу рулон циновок, которых стало меньше на две, Файка лижет мороженое в стаканчике с кремовой розочкой. Филимон остался на рынке. А нам нужно домой. Сегодня должна вернуться с Самого Большого Острова Ксюха. Она поступила в Институт. По этому поводу дома будет праздник.

– Папка! Папка! Смотри! Вон же лошадка!

Я оборачиваюсь. У заводского забора стоит ослик. Он прыдет ушами и без особого желания обтрепывает верхушки подзаборных сорняков. Хозяин ослика, судя по приставленной к забору лестнице, добывает что-то нужное на территории Завода.

– Это ослик, Файка, – говорю я.

Она смотрит на меня снизу строго, как учительница. Даже грозит пальчиком.

– А какая разница? – и добавляет через секунду. – Ты что, заболел?

– Почему заболел? – не понимаю я.

– Ты улыбаться перестал, папка! – горячо шепчет Файка. – Влюбился, что ли?

– Глупости! – делаю я страшное лицо.

Наверное, примерно так визжат маленькие поросята. Даже в ушах зазвенело.

Я гребу к нашему острову. Лидка не любит лодку. Нервничает от скрипа уключин, от низкой скорости, от сырости под ногами. Добирается до дома или на маршрутном катере, или берет моторку. Хочет купить свою, что-то подсчитывает. До нашего острова на катере – десятка, на моторке – четвертной. Туда и обратно – одна циновка. Попробуй еще продай ее. Ксюха должна приплыть на большом катере. Он остановится у пристани Города, Ксюха сойдет на берег, где ее уже будет ждать Лидка. Она обнимет дочь, поцелует, затем отстранит от себя, осмотрит, принюхается и только после этого снова поцелует. Лидка строгая. Ксюхе только семнадцать, но она тоже строгая. Вся в мать. Кто из них в меня? Наверное, Ольга. Но Ольга все время молчит. Молчит и смотрит. Молчит и смотрит. А вот в кого Файка, пока непонятно. Она еще не определилась. На данном этапе Файка сама в себя.

– Что там? – спрашиваю я неугомонную, которая наконец расправилась с мороженым, облизала губы, облизала пальчики, потом прополоснула пальчики в воде, умыла ими рожицу и замерла, раздумывая над продолжением собственной беззаботности.

– Ничего, – Файка зевает, ее беззаботность требует отдыха. – Маяк торчит, но не горит. День потому что. Но над на-

шим домом дым. Наверное, мамка уже дома, и Ксюха уже дома. Готовятся к застолью.

"Готовятся к застолью, – повторяю я про себя. – Позовут Серегу и Марка. Девчонки будут смотреть на Марка влюбленными глазами. А мы с Серегой будем молчать. Как всегда. Вся разница между нами в том, что я улыбаюсь, как дурак, а Серега не улыбается. Но тоже сидит как дурак".

– Папка, – спрашивает Файка. – А что ты купил Ксюхе?

– Портмоне, – смеюсь я.

– Портмоне, – закатывается в хохоте Файка. – Какое смешное слово! Портмоне!

Марк – красавец. Профиль точеный, глаза голубые, волосы на взгляд жесткие, но лежат как нужно. На худых щеках и подбородке – легкая небритость. Плечи широкие, в теле – ни капли жира. Я как-то спросил его, Марк, откуда стать такая? Маяк, ответил он. Все маяк. Высота – сорок метров. Двести ступеней. Поручни. Десяток раз за день ручками-ножками вверх и вниз, вверх и вниз. Стать сама собой нарисуеться.

У меня маяка нет. Но руки сильные, от весел. Ноги конечно да, подкачали. Длинные и худые. А Серега-болтун все равно завидует. Раньше завидовал. Говорил, что если плыть устанешь, нужно щупать ногами дно, вдруг мелко. У тебя, – говорил, – на целую голову больше шансов выжить. Глупость сказал. Какие шансы? Серега-болтун плавает как рыба. Раньше плавал. Больше не хочет. Наплавался.

Сейчас Серега сидит с торца стола рядом со мной. Сидит, молчит, ковыряется в тарелке. Марк по длинной стороне. Слева от него Ксения, справа – Жанна. Ухаживают. Подкладывают разных вкусовностей, которых сами и наготовили, рассказывают ему какие-то глупости. Напротив сидят Софья, Галина и Зинаида. Стучат ложками, уши враслопырку, ни слова стараются не пропустить. Они мой средний класс. От семи до одиннадцати лет. Ксении – семнадцать. Жанне – тринадцать. Ольге – пятнадцать. Ольга сидит рядом с Лид-

кой, помогает ей, приносит из кухни тарелки, блюда, столовые приборы. Вытаскивает из кадушки со льдом вино. Лидка любит холодное. А Ольга смотри на меня, глаз не может оторвать, словно взгляд ее приклеился к моему виску. Она единственная черненькая из всех. Остальные светлые. Всех оттенков. А Ольга черненькая. Когда была маленькая, таскалась за мной, как Файка. Кирьян одно время тыкал мне пальцем на Ольгу, глаза тарасил, на Марка намекал. Только Марк появился на острове, когда Ольге уже пять было. А до него смотрителем маяка был Рыжий. Был рыжим, и рыжим помер. Потом стал Марк. Но Ольге уже было пять лет. Да, она единственная черненькая из всех. Ну так и Лидка черненькая. Сидит, слушает щебетанье Ксюхи, которая все-таки стала студенткой, собирается приобрести какую-то сложную специальность, нужную для Завода. Лидка на меня не смотрит. На меня смотрит Ольга. А на руках у меня Файка, орудует ложкой в моей тарелке. Я улыбаюсь, время от времени вытираю Файке щеки, заляпаные тушеной картошкой. Наконец, слышу голос Лидки:

– А что скажет отец?

Я снимаю с коленей Файку, медленно поднимаюсь, смотрю на Лидку. Она красивая. Лицо нежное, фигура, все при ней. Если бы встретил восемнадцать лет назад ее еще раз, опять бы женился. Даже если бы знал, что будет так, как будет. Что раздражать ее буду и улыбкой, и всяким пустяком, и даже тем, чего нет. Что упоминая мое имя, она будет ма-

хоть в сторону рукой. Что сначала будет терпеть мои ласки, потом сослаться на больную голову, потом и терпеть перестанет, и сослаться тоже. Что обиду будет носить в себе на меня неведомо за что. Сколько мы уже не ложились с нею в одну постель? Три года? Четыре? Какая разница? Мне уже и не хочется. Ее не хочется. Хочется, но не ее. Кого-то еще. Хотя ни с кем не было так, как с нею. Но ее не хочется. Это как пить чай из любимой чашки, если перед этим его туда не налить.

– А что скажет отец?

– Вот, – я протягиваю Ксюхе портмоне. – Тут немного внутри, пятьдесят рублей. Только на развод. Ты молодец. Горжусь.

Дочь поднимается, тянется через стол, трется через холодный шелк платья бедром о легкую небритость Марка, да так, что он жмурится. Берет простенькое дерматиновое портмоне, старательно улыбается, потом бросает его за спину, на комод, где стоит сумка, с которой она приехала. Обычная сумка, плетеная из тростника, своими руками сделал перед отъездом.

– Ты бы лучше еще парочку сумок сплел, – говорит небрежно. – Подружкам понравилось. Говорят, что прикольно..

– Хорошо, – говорю я, медленно сажусь, снова помещаю на колени Файку, случайно ловлю взгляд Лидки. Она смотрит на меня с такой ненавистью, что внутри у меня что-то об-

рывается. Обрывается, но не падает, а повисает где-то между сердцем и животом. Улыбаюсь, а что еще делать?

– Ты чего, папка? – оборачивается Файка.

– Ничего, – с трудом выдыхаю я. – Все хорошо.

Сергея, который сидит рядом, пихает меня локтем и подвигает стакан.

– За тебя, Ксюха, – подношу я его к губам.

Она кисло кивает.

Утром я иду на гнилой бережок, который лежит с южной стороны островка, где пляжа нет, и песка нет, только ил, и открываю сарай. Стопа сплетенных мною циновок почти упирается в потолок. Потолок, правда, низкий, и двух метров не будет, но все же. Я начинаю вытаскивать циновки на траву. Файка пытается мне помогать, потом ей надоедает и она начинает собирать одуванчики. С этой стороны острова у нас луг. Четыре метра бурьяна, за ними пятнадцать метров луга. До самый воды. Кузя очень завидует. Не раз говорил мне, что мечтает сходить по нужде на луг. Чтобы сидеть, слушать стрекотание кузнечиков, и чтобы трава щекотала ему задницу. Я помнится, пообещал ему тогда голову открутить.

Нижние циновки отсырели, даже почернели по краям, считай, что половина сделанного. Я укладываю их на камни, на которых разогреваю воду для отпаривания тростника, и зажигаю.

– Зачем? – подбегает Файка.

На голове у нее веноч, пальцы черные от одуванчикового сока.

– Они умерли, – объясняю я Файке. – Видишь, чернота по краям? Все, эти циновки уже никуда не годятся.

– Почему? – надувает губы дочь. – А в Музее? Помнишь, мы ходили в Музей?

Я помню. Музей стоит между Школой и Заваем. В нем четыре зала. В первом – чучела рыб. Во втором – предметы быта и какие-то окаменелости. В третьем – картины. В четвертом – поднятый со дна озера маленький торпедный катерок – ржавый и бессмысленный. В том зале, где лежали предметы быта, Файка нашла истрепанные циновки, расписанные краской. Циновки обветшали, из распадающегося плетения на нас с Файкой смотрели лица неизвестных людей.

– Помню, – отвечаю я. – Те циновки уже попали в историю, поэтому они ценны. А наши еще не попали.

– Но ведь так они и не попадут уже? – пытается что-то понять Файка.

– Из этого сарая они никуда не попадут, – объясняю я. – Они не доживут до истории. Лучше уж превратить их в дым. Пусть летят, куда хотят.

– Когда человек умирает, он тоже становится черным по краям? – осторожно спрашивает Файка.

Она не знает, что такое смерть. Когда умер Рыжий, Файки еще не было.

– Не сразу, – отвечаю я. – Эти циновки были живы, когда я складывал их в сарай. И умерли они постепенно. А человек умирает сразу. Правда, иногда сначала долго болеет.

– Понятно, – тарабанит заученные наставления Файка. – Нужно мыть руки и смородину перед едой, не сидеть подолгу в воде, зимой одеваться тепло.

– Правильно, – смеюсь я и добавляю в разговор немного

ужаса. – Если человек болеет долго и тяжело, тогда может и почернеть по краям.

Но Файку испугать трудно.

– А может быть, они больные, а не мертвые?

Файка подходит к костру, ойкает от взлетающих хлопьев пепла, смотрит, как тонут в пламени лица, фигуры, силуэты, линии, пятна, тени.

– Нет, – отвечаю я. – Они умерли.

– А что ты собираешься делать с остальными циновками? – теряет она интерес к пламени.

– С этими? – я растаскиваю десятки, сотни уцелевших работ по траве. – Думаю выбрать штук десять получше, а из остальных сделаю сумки. Только смотри внимательно на воду. Увидишь Кирьяна, скажи мне. Бечева у меня есть, но мне будут нужны ленты. У меня их мало.

– Зачем тебе столько сумок? – восторженно шепчет Файка. – Ведь Ксюха просила только парочку?

– Эти сумки будут нужны нам всем, Файка, – с улыбкой обнимаю я дочь. – Надеюсь на это. Лучше помоги мне выбрать десять лучших циновок. Представь себе, что тонет катер, на нем много людей, А у тебя в лодке только десять мест. Выбери тех, кого ты возьмешь в лодку. Хорошо?

– Нелегко это, – бормочет Файка.

– Конечно, – киваю я. – Найти что-то стоящее в куче барахла, особенно если стоящего там нет.

– Нет, – не соглашается Файка. – Выбрать лучшее из очень

хорошего.

"Я люблю тебя, Файка" – думаю я.

Не говорю, думаю. Незачем говорить. Она и так знает.

Они все разные. Вылеплены из одного теста, но разные. И не потому, что пеклись по-разному, кто-то в середине противня, кто-то с краешку, кто-то остался чуть сыроват, кто-то подрумянился, кто-то в самый раз, нет. Просто они разные. Мы делаем все, что можем. Растапливаем печь, сдвигаем угли в сторону, смазываем гусиным пером противень. Готовим вылепки, пробегаем пером и по ним, присыпаем нашими надеждами, ожиданиями, нашей нежностью, задвигаем в печь и ждем. Следим, чтобы жар не был слишком мал или слишком горяч, передвигаем противень, беспокоимся. Даже тогда, когда печь уже остыла, и от нас почти ничего не зависит. Еще бы, ведь мы не знаем, что за начинка в наших вылепках? Ее явно закладывает кто-то третий, в тот самый миг, когда мы настолько увлечены друг другом, что забываем о тесте напрочь. Поэтому, каждая из семи – тайна.

Ксения знает себе цену. Она первенец. Может быть, самая красивая из семерых. Она не ходит, она носит себя. И не смотрит, а показывает себя. Есть чего показать, есть. К тому же умница, помощница, без надрыва, но помощница. Правда, порой слишком безапелляционна и резка. Это от мамы.

Ольга – как открытая рана. Черненькая, тонкая, то быстрая, то окаменелая. То бегом, то шепотом. То нервно, то тихо. Она как тонкий слух, который годен, чтобы различать

шорохи, и никуда не годится, чтобы прислушиваться к грому. Вся – на пуантах. На кончиках пальцев. В кого она такая?

Жанна – кремень. Губа прикушена. Волосы затянуты в хвостик. Плавает – лучше всех. Берется "на слабо", но с умом. Понимает больше, чем говорит, но если говорит сама, то коротко и точно. Проломит все, что нужно, лишь бы не сломалась, когда наткнется на кого-то, кто еще тверже. А ведь бывают такие, бывают.

Зинка. Копия Жанны, но в пол-оборота. Тоже твердая, но тоньше. Плавает чуть хуже. "На слабо" вовсе не берется, иногда знает, что "слабо", иногда не хочет показывать, что "не слабо". Говорить может много, но не сказать ничего. Молчит хорошо. Пока еще как маятник – куда качнется, к уму или к хитрости?

Галка. Почти мальчик. Коленки содраны, нос расковырян, ногти сгрызены. На носу веснушки. Видит только то, что перед носом. Зато все остальное слышит. Слышит и мотает – усов нет, значит мотает на нос. Честная до неудобства. Когда кто-то рядом врет, белеет. Губу прикусывает. Но не ябедничает. Хотя, разобраться с вруном может. Трудно ей будет в жизни. А может быть и легко. Галку все любят.

Сонька. Коробочка с сюрпризом. Угловатая коробочка. Прочная. Без музыки, без присвиста. Молчаливая, медленная, как черепаха. Настойчивая. Очень добрая. Но не настырная. Вот уж из кого мамка получится высший сорт. Лишь бы одиночеством ее не накрыло. Подставляется со сво-

ей добротой.

Файка – человек-говорун. Не белый листок, нет, уже написано что-то, но мелко. Мне уже не разглядеть. А хотелось бы. Интересно.

И что в них во всех от меня?

Лидка говорит, что ничего. А если что-то и проявится, каленым железом будет выжигать.

Ольга подходит к нам по узкой тропинке, осторожно отстраняется от лопухов, смотрит, чтобы не поймать репейник на кислотную маечку. Мы не богаты, кроме семи дочек никакого богатства, дом и тот на ладан дышит, но одевает дочек Лидка на совесть.

– Что делаешь?

Вопрос из тех, которые задаются просто так. Узелок.

– Сумки.

– Ксюхе?

Когда любая из шести прищурилась бы, черненькая Ольга только шире глаза распахивает. Похожа на Марка. Но нет. Он после на острове появился, после.

– Ей нужны две, а я делаю много сумок, – весело объясняю Ольге.

Она особенная. И люблю я ее по-особенному, словно диковину какую, что прижилась и стала дороже прочих. Она знает.

– Дай мне одну, – просит.

Это что-то новенькое.

– Выбирай.

Я успел собрать пару десятков. Из готового проще. Раскроил, края прихватил рыбьим клеем, по склеенному набил дырок, прошнуровал лентой. Лента пока есть, но мало, нуж-

но Кирьяна напярць. Я ёю циновки по краю обметывал, теперь вот остатком прошнуровываю по углам сумки да ручки оплетаю из ивового прута. Проваренный прут имеется, зимой корзинками занимался. Но корзинки – не мое. Сумки, впрочем, тоже.

Выбрала одну, осмотрела, повесила на плечо, шагнула в лопухи, обернулась, спросила зло:

– Так ты и в самом деле ничего не видишь или притворяешься?

– Ты о чем? – улыбаюсь я в ответ, зная, что разозлю ее еще больше. – Файка, о чем она?

– Какая Файка? – начинает почти кричать Ольга. – У тебя шесть дочерей, шесть! Понимаешь? Шесть! Мамка аборт сделала пять лет назад! Забыл? Аборт!

– Не забыл, – отвечаю я и продолжаю улыбаться, хотя улыбка моя становится маской.

– Идиот, – шипит она себе под нос и уходит, забыв и о лопухах, и о репейниках.

– Ты идиот? – осторожно спрашивает меня Файка.

– Все люди идиоты, – беру я ее на руки. – Но некоторым не удастся этого скрыть.

Назавтра Кирьян останавливает мою лодку за островом Филимона. Я один, Файка осталась дома, некуда было ее посадить. Кирьян таращится на гору сумок. А ведь я порезал за два дня только половину циновок. Просто ленты у меня нет больше. Хотя если буду сплести именно сумки, то ленты потребуется меньше. Углы будет не нужно обметывать.

– Лента есть? – спрашиваю торговца.

– Будет, – напряженно высчитывает он что-то в уме. – Всех цветов будет. И по низкой цене. Ты что затеял, улыбочивый?

– Как что затеял? – удивляюсь я. – Сумки сделал. Везу продавать.

– Хочешь доказать Лидке, что ты полезный? – корчит Кирьян коммерческий прищур.

– Деньги нужны, – делаю я серьезным лицом. – Ксюха в институт поступила. Нужно. На книжки.

– На наряды, на косметику, на кафешки, – перечисляет Кирьян и высматривает, высматривает что-то. – А ну-ка дай одну пощупать?

– Я вытаскиваю из пачки крайнюю – узор на солнце блестит, лента по углам легла плотно, внутри все гладко, ни одной заусеницы, ручки на ощупь словно спинки у стульев на Лидкиной работе – загляденье одно. Или защупованье? Бро-

саю сумку Кирьяну.

Он ее трогает, рассматривает на вытянутых руках, потом утыкается носом. Выглядывает что-то на дне, изнутри, проверяет швы, дергает за ручки, с недоверием косится на мою улыбку.

– А если дождь?

– Да хоть два, – смеюсь я. – Клей с добавками, в сумке можно воду носить, если недалеко. Сразу не выльется, плетение плотное. И по весу. Ведро песка входит. Остров обошел от маяка до халупы Сереги. Ручки не оторвались.

– Сколько их у тебя? – спрашивает Кирьян.

– Сто пятьдесят, – гордо отвечаю я. – И еще будет. Где-то под двести. Ну, это уже с лентами. А торг пойдет, еще лучше буду плести. Без швов, без стыков. Цельные. И ручки буду сплести из тонкой лозы, без лент.

– Сто, – решается Кирьян.

– Что сто? – не понимаю я. – Сто сумок?

– Сто рублей! – выдыхает торговец. – Даю сто рублей за сумку!

Я почему-то перестаю улыбаться. Продавать собирался за тридцать. Если я просил за одну циновку пятьдесят, то на сумку уходит половина циновки. Значит, двадцать пять, к этому лента, моя работа. Ну, пусть будет тридцать. Хотелось бы, конечно, тридцать пять, но уж больно число не круглое. Кирьян называет сто. Как я потом буду продавать остальные по тридцать? Узнает, обидится. Да и самому как-то неловко.

– Да ты что? – неверно истолковывает мое молчание Кирьян. – Я ж оптом беру. Больше не могу, самому на навар ничего не останется. К тому же плачу сразу. И все прочие, что сплетешь, тоже заберу. Только уж ты никому чтобы не продавал. А сплетешь без стыков, посмотрим, другую цену поставим. Да нечего думать! А ну-ка, перебрасывай мне связки, перебрасывай! По рукам? По рукам я говорю!

Вмиг забирает у меня все сумки, пересчитывает, довольно крикает, выуживает из-под лавочки барсетку, топырит защелку, отсчитывает ассигнации.

– Вот, дорогой мой, держи, – протягивает пачку пятисоток. – Пересчитывай. Я сказал, пересчитывай! А то скажут потом, что блаженного обманул. Сто пятьдесят сумок по сто рублей – пятнадцать тысяч рубликов. Тридцать бумажек по пятьсот. Все правильно? Эх, улыбчивый, да мы с тобой... Плети дальше, а я на Самый Большой остров. Дальше уже мое дело.

Заводит моторчик и закладывает вираж. Я ошалело тереблю в руках пятнадцать тысяч рублей. Потом прячу их в грудной карман рубашки, застегиваю на пуговицу, снимаю с воротника булавку и закалываю карман еще и булавкой. Сажусь за весла и разворачиваю лодку.

Даже не знаю, что и думать. Но улыбаюсь. Глупо, наверное, выгляжу. Постричься, что ли?

Дочки распластались на пляжном краю острова. Шесть точеных фигурок в разноцветных купальниках от детских, до почти взрослой. Головы накрыты от солнца лопухами. Файка в панаме роется в песке рядом, строит замок. Но песок сухой и замок у нее не получается. Она поднимает лицо к небу, жмурится на ясное солнце, что-то шепчет. Наверное, выпрашивает дождичек. Файка считает, что надо договариваться не только с живыми существами, но и с растениями, с предметами и явлениями природы. Уговаривает крапиву возле сортира, что бы та ее не жагалила. Просит воду в душе, чтобы вода ее не обжигала. Просит ветер, чтобы он не дул слишком сильно. Мороз, чтобы не морозил. Комод в родительской спальне, чтобы тот не оставлял острыми углами синяки на Файкиных ногах. Сейчас она что-то просит у солнышка. Впрочем, делает она это недолго, подхватывает ведерко и шлепает к воде. Да, песок нужно смачивать, иначе никакой замок не поднимется на берегу маленького моря. Точно, начатая пачка соли торчит из Файкиной майки в двух шагах. Значит, море будет.

Я загребаю вправо к лачуге Сереги. Как и большинство домов на островах, она построена из плавника. Когда Серега еще был болтуном, он смеялся, что теперь построить дом на ближних островах нет никакой возможности, потому как

весь плавник вылавливает Кузя. Серега лежит на крыше своей халупы. Не загорает. Спит. Под боком клеенный-переклеенный надувной матрас, на голове лист газеты "Островная правда", на плече баба с рыбы хвостом. Очень Файка интересовалась, как же это создание осуществляет естественные надобности, есть ли у нее икра и на что она надевает туфельки на высоких каблуках? Но Серега больше не болтун. Иногда он недоуменно разглядывает татуировку на собственном плече, но чаще всего спит. В последнее время это у него получается на зависть. А ведь до пропажи мог болтать часами.

Я огибаю лачугу Сереги и причаливаю к сараю. Нахожу в воде цепь, размыкаю замок и пристегиваю лодку к углу сарая. На всякий случай, бывало, что угоняли и лодки. Да и что ее угонять, вяжи к килю поплавок с фалом метра в два, да топи лодку где-нибудь на отмели, чтобы поплавок был на метр в воде. По началу лета, когда течения сильные, муть идет, никто лодку не разглядит. А как искать перестанут, поднимай, перекрашивай, пользуйся.

Я выпрямляюсь, поднимаю глаза и вижу на фонаре маяка женский силуэт. Женский силуэт в темно-зеленом. Темно-зеленое платье есть только у Лидки. Лидка на маяке. Рядом Марк. Бинокля у меня нет, но в том, что он обнимает кого-то в темно-зеленом, нет сомнений. Наверное, хвастается видами с маяка. Я поднимался наверх. Раньше часто, а с Марком один раз. Помогал ему поменять треснувшее зеркало. Виды сверху действительно отличные. Острова торчат

из воды словно кочки. На каждом кусты, огородики, домики. Кажется, словно рассматриваешь картинку раскладку из детской книжки. Марк не слишком разговорчив. Не молчун, конечно, как Серега – бывший болтун, ну и не трепло какое-нибудь. Тогда он сказал сразу много слов. Разглядел, как я таращусь, кручу головой, подошел и выдал:

– Это не озеро, улыбчивый. Это океан. Огромный пресноводный океан, в котором набрызганы миллионы островов. Им нет числа. Этого не может быть, понимаешь? Поэтому я думаю, что мы все дураки.

– Особенно я, – рассмеялся я.

– Ты в первую очередь, – серьезно сказал тогда Марк.

Теперь он стоит там, у зеркал с кем-то в темно-зеленом и обнимает ее. А я стою у сарая, в котором еще осталось больше сотни циновок под разрез, и десять циновок, которые отобрала Файка, и которые я пока еще не видел, и думаю, что самое страшное, когда не хочется жить, но и умереть нет никакой возможности. И ведь еще и улыбаюсь при этом.

В середине весны ко мне в сарай пришла Жанна. Села напротив и долго, с час смотрела, как я заряжаю раму, как начинаю переплетать разложенные по цветам стебли тростника. Хмурилась, сопела, пока, наконец, не произнесла то, за чем пришла:

– Почему ты нас не бросишь?

– Почему я должен вас бросить? – перестал я улыбаться. Странно, именно говоря с Жанной, улыбаться я не могу. Еще с Лидкой. Но с ней по другой причине. Лидка взрывается от моих улыбок, они ее обжигают. А с Жанной по-другому. С нею я не умею улыбаться.

– Просто, – она не пожалала, а как-то дернула плечами. – Тебе же нет от нас никакой пользы.

– Пользы? – удивился я. – Мне от вас пользы? Зачем мне от вас польза? Это от меня должна быть польза!

– От тебя много пользы, – стала загибать пальцы Жанна. – Ты смотришь за нами, особенно за мелкими. Возишь в школу на санках. Проверяешь табели. Читаешь вслух. Готовишь еду. Ну, пусть иногда готовишь еду. Убираешься вокруг дома, чистишь пляж. Плетешь циновки.

– Какая польза от циновок? – вздохнул я.

– Большая, – кивнула Жанна. – Если бы не твои циновки, остров бы зарос тростником. А ты его выдергиваешь. По-

смотри, почти все острова вокруг в тростнике, а наш как картинка! Но и это еще не все. Ты держишь маму.

– Держу? – не понял я.

– Держишь в тонусе, – объяснила Жанна. – И отдохнуть ей позволяешь. Ей трудно на Заводе, она много работает. Приплывает домой, а тут ты. И если даже на работе проблемы, дома их нет. Дома одна проблема – ты. Поэтому можно на тебя ругаться, обижаться, кричать, шипеть, бросаться блюдечками...

– Ну, это было всего один раз, – запротестовал я. – И то лишь потому, что я нечаянно разбил мамину чашку, и блюдечко стало ненужным.

– Она разряжается на тебя, и нам меньше достается, – продолжила Жанна. – Мы все ее любимые дочери. Польза самая прямая. Пользы нет только для тебя.

– Стоп, – не согласился я. – У меня от вас всех очень много пользы! Еда, крыша над головой, твердая земля под ногами, ваша любовь...

– Любовь, – задумчиво повторила Жанна. – Любовь – это, конечно, очень интересно. Но где она, эта твоя любовь? Ты спишь в пристройке, в вашей спальне с мамой спит Сонька. Не всегда, но все же. За последние несколько лет мама ни разу ни обняла тебя, ни поцеловала, только щеку подставляет, когда уходит к утреннему катеру, да и то лишь тогда, когда мы на нее смотрим. Это любовь?

Я долго молчал. Потом отодвинул раму с начатой цинов-

кой, посмотрел в глаза Жанны, взгляд которой я не мог выдерживать дольше пяти секунд, и сказал:

– Не хочу смотреть на все через пользу. Она как мутное стекло. Мелочи куда-то исчезают. Остаются только общие силуэты. Да и то... Хочу, чтобы без пользы. Просто так.

– Просто так? – с сомнением повторила Жанна. – Просто так ничего не бывает. Мама так сказала.

– Хорошо, – уцепился я за подсказку. – И я с вами не просто так. Я как смородина.

– Смородина? – не поняла Жанна.

– Ну да, скоро поспеет красная смородина. В палисаднике за пристроем. На грозди много ягод. Но отщипни хоть одну и посмотри. Уже через день она съежится, помутнеет. А остальные будут себе наливать соком дальше.

– Ты не смородина, – вдруг налилась слезами каменная девчонка. – И мы не смородина. Мы живые. И мы, нет, я, я не хочу чтобы у меня было так.

– Как? – не понял я.

– Как у вас! – хлопнула она дверью.

Иногда я думал, что нужно было уйти. Когда была только Ксюха. Потом, когда появилась черненькая Ольга, я уже не думал об этом. Я не мог себе представить, что где-то буду я, а где-то отдельно будет все еще родная и желанная Лидка с двумя моими детьми. Что та же Ольга без меня начнет сначала переворачиваться, потом ползать, потом сидеть, потом ходить. Что Ольга без меня прочитает первую книжку, что не меня будет мучить бесконечными "почему". Что не я буду вставать ночью, сбивать температуру, укачивать, носить на руках. И что все это будет делать одна Лидка – тоже не мог представить.

Хотя, Серега, когда еще был болтуном, как-то сказал, что главное, чего нельзя делать в семейной жизни, это жертвовать собой.

– Почему? – заинтересовался я словами болтуна, который вроде бы никогда не был женат.

– Потому что второй, тот, ради которого приносится жертва, будет придавлен чувством вины, – объяснил Серега. – А уж если твоя жертва фигуральна, так сказать, и ты в виде домашнего экспоната продолжаешь маячить в поле зрения, готовься к глухой ненависти.

– Я не чувствую себя жертвой, – твердо сказал я. – Может быть, немного неудачником. Да и то! Семь дочек!

– Семь? – почему-то повторил Серега, задумался, потом махнул рукой. – Ты не понял. Не ты жертва. Лидка.

– Она? – удивился я.

– А кто же? – хмыкнул Серега. – Женщина отдает себя, вручает. Можно сказать, доверяется. Мол, неси меня, приятель к светлому будущему через желательно светлое настоящее. Но не успевает она оглянуться, как вдруг оказывается запряженной в тяжелую повозку, на которой сидит ее многочисленное потомство, а рядом идет и понукает ее любимый муженек.

– Я не понукаю, – ответил я тогда Сереге. – И не иду рядом. Я тоже ташу.

– Ага, – со смешком кивнул Серега. – Тащишь. Не понукаешь. Лидка в понуканиях не нуждается. Поэтому ты тоже взгромоздился на телегу и дремлешь на облучке.

Тогда я обиделся. Назавтра пошел к Сереге, чтобы разобраться с его словами. Но Серега пропал. Попал, как оказалось, в белый туман. А когда вернулся, ему уже было не до разговоров.

Я иду домой. Иду на почему-то подрагивающих в коленях ногах домой. Разуваюсь. Прохожу в спальню, в которой не появлялся уже несколько лет. Открываю шкаф, в котором стоят две стеклянные пивные кружки. На одной еще детской Ксюхиной рукой написано эмалью "мама", на другой – "папа". В Лидкиной кружке торчит пачка сотенных, не слишком толстая. И счет за свет. Я выцарапываю из кармана пятнадцать тысяч и кладу их в ее кружку. Потом выхожу на крыльцо, сажусь и смотрю на маяк. До него полсотни шагов. До Лидки – полсотни шагов и двести ступеней с поручнями вверх. А если ей до меня, то вниз. Если бы я остался работать на Заводе, то после смерти Рыжего мог бы занять его место. Меня бы откомандировали. Марка же откомандировали. Но я не остался на Заводе. Не смог. Не захотел. Кем только не работал – и сторожем в Музее, и мастером трудового обучения в Школе, и даже пытался торговать пивом. Ничего не получалось. Нет, с работой проблем не было, денег не получалось заработать. Одному бы хватило, а на семью... Так бы и мыкался, пока Лидка не начала нормально зарабатывать на Заводе сама. Тогда и сказала мне, теребя как-то в руках сделанный мною из тростника ее портрет.

– А попробуй. Может быть и получится что-то такое. Сплети жалюзи рулонные нам в бюро. Вдруг, пойдет?

Пошло. Только недолго. В Лидкином бюро десять окон, а не десять тысяч. Кому нужны жалюзи из тростника? Кому нужны циновки?

Я вспомнил Машу и задержал дыхание.

Почему мы не совпали с Лидкой? Да нет же, совпали. Да, не без шероховатостей, но притерлись же. Не хватило благополучия. Мы словно складывали наше счастье из камня, но камни были не слишком тяжелы, и не было благополучия, чтобы промазать швы, чтобы сложить из этих камней монолит. И счастье пошло трещинами. Если оно было. Нет, нас особо не трясло. Счастье пошло трещинами под действием собственного веса. Накопилось. Что-то такое накопилось. Или растратилось. Да, растратилось. И вот пустота.

"Папа, почему ты не бросишь нас?"

Потому что боюсь показаться самому себе еще большей сволочью, чем чувствую себя теперь.

Дверь маяка открывается, и оттуда выбегает Ксюха в темно-зеленом мамином платье. Пробегает мимо меня и недоуменно хмыкает. Значит, одной из точеной фигурок на пляже была Лидка. Она совсем не изменилась. Такая же как и раньше. Значит что-то изменилось во мне. Из маяка появляется Марк. Он медленно идет ко мне. Останавливается в пяти шагах, достает пачку сигарет, выстукивает одну с пятого удара. Закуривает. Ни капли жира, голубые глаза, подбородок, скулы – как на картинках из журнала мод. Но пальцы чуть дрожат.

– Жениться хочу, – говорит глухо. – На Ксении. Зарплата у меня нормальная. Жить есть где.

– Ну, я-то не Ксения, – улыбаюсь я хорошему мужику Марку.

– Это да, – кивает Марк и медленно бредет обратно к ма-
яку.

Ксюха выбегает из дома через минуту – волосы распущены, купальник – две ниточки – одна с треугольничком, другая с чашечками. Дух захватывает.

– Марк хочет на тебе жениться, – говорю я ей.

– Пусть хочет, – кривит она губы. – А я не хочу замуж. За него не хочу. Подумаешь, смотритель маяка. Двести ступеней. Да и рано мне замуж.

– Тогда зачем ты ходила к нему? – не понимаю я.

– Мало ли, – фыркает Ксюха и бежит в сторону пляжа, оборачивается через пять шагов, бросает. – Поцеловаться, потискаться, потрахаться. Я уже взрослая, папочка.

Я несколько минут прихожу в себя. Потом медленно бреду на пляж. На ходу сбрасываю рубашку. Если не снимать брюки, я все еще неплохо выгляжу. Плечи так уж точно не уже, чем у Марка. Подхожу к Лидке, снимаю лист лопуха с ее лица, наклоняюсь, чтобы поцеловать. Она прячет губы.

Она прячет губы.

Отворачивается.

Если бы у меня было много денег, я бы купил остров. Большой остров. Метров сто на сто. Или бы нанял землечерпалку. Рабочие бы забили бетонные сваи, а землечерпалка намыла бы ил и завалила им пространство между сваями. Получился бы остров с высокими берегами. Так делают некоторые. Находят мель, забивают сваи, правда, деревянные. И начинают намывать ил. Обычными ведрами. Чаще всего это дело затягивается на несколько лет. Бывает, что сваи выпирает из дна, и ил размывается. А некоторые строят из всякого хлама плоты. Но это не для меня. Мне нужно твердое под ногами.

Чтобы остров был прочным, нужно туда же бросать что-то вроде арматуры или сталистой проволоки, сеток. Но это можно взять только на Заводе, а на Заводе взять что-то не так просто. Тот же Филимон рисковал, воруя подшипники. Если бы я послушался Лидку, то работал бы на Заводе охранником. Филимона я бы подстрелил точно. А когда бы сменялся со смены, то сам бы притащил кучу подшипников. И притаскивал бы что-нибудь каждый день. И подстреливал кого надо. А тот, кого не надо подстреливать, платил бы, и я бы имел две или три зарплаты сверху. И ведь никакой ответственности. потому что Завод и предназначен для того, чтобы с него все красть. Лидка так и не простила мне того, что я отказал-

ся от этой работы.

Но если бы я был богат, и купил бы остров, то устроил бы его так, чтобы с одной стороны был пляж. А с других сторон высокий берег. Я посадил бы на нем ивовые кусты, чтобы они скрепили ил корнями. И несколько сосен, чтобы они пришили мой остров ко дну озера опять же корнями. И построил бы большой дом, в котором и у Лидки, и у каждой дочери была бы большая комната. И отдельная кухня, мало ли, заведут семьи. И очень большая общая кухня. И теплые сортиры. И даже сауна. И много еще чего-то такого, о чем я даже не подозреваю. И еще я бы купил Лидке небольшой катер. И снегоход на зиму. И открыл бы счета в банке на каждую дочь с очень приличной суммой денег. А потом бы умер.

Умер бы.

Нет, уехал. Точнее умер бы, но так, чтобы все они думали, что я уехал. И даже прислал бы им свои фотки со счастливой физиономией, чтобы думали, что я сволочь последняя и просто променял их на кого-то еще. То есть умер бы, но чтобы никто меня не жалел. Потому что ни при каких обстоятельствах на самом деле я не мог бы оставить своих девчонок – Ксению, Ольгу, Жанну, Зину, Галину, Софью, Фаину.

Да и Лидку, пусть не осталось ничего кроме досады за промелькнувшую молодость. Но ведь все они, все они из Лидки. Она их выносила. Не для меня, не для себя, просто выносила. Поэтому я живым их оставить не могу. Только умереть. Но я не могу купить остров, я ничего не могу. Только если

сплести тысячу сумок. Десять тысяч сумок. Тогда да. Только тогда да.

– Почему вы в жилете?

Я выпрямился, встал, застыл с глупой улыбкой на губах. Раннее утро, лето, солнце светит, а я думаю о смерти.

– Я не умею плавать.

– В самом деле?

Маша удивлена. У нее на плече пляжная сумка, из которой торчит полотенце, бутылка воды, еще что-то.

– Я думала, что на островах все умеют плавать. Ладно, если здесь кто не умеет, но на островах-то...

– А мы разве не на острове сейчас?

Я недоуменно топаю ногой. Вокруг рынок, передо мной стол, на нем десяток свернутых в рулон циновок, которые я так и не развернул, Филимона нет, рано для него. Мы все на острове. Мы все на островах. Файка говорила, что каждый из нас на острове, потому что каждый – как маленький остров. Но кто-то большой остров, а кто-то как несколько свай и ведро для ила. И так до самой смерти. Что она понимает о смерти? Она же не знает о ней ничего, Рыжий умер, когда Файки не было еще.

– А, понимаю, – она смеется. – Здесь говорят так, потому что Город на Большом острове. На Б-о-л-ь-ш-о-м!

Она расставляет в стороны руки и надувает щеки.

– Поэтому все, кто живет на маленьких островах – именно что на островах. А мы вроде как на большой земле. А где

Файка?

– Дома осталась, – говорю я. – Я рано поехал на рынок.

– Лето, – пожимает плечами Маша. – Сейчас все пойдут на пляж. Хотите я вас научу плавать?

– Меня? – я не знаю что ответить.

– Да, вас. И не спорьте.

Она подхватывает мои циновки и уходит.

– Не медлите. А то утащу. И не бойтесь. Я знаю укромное местечко, где нет никого. Там даже можно купаться голышом.

Я возвращаюсь на остров в сумерках. Стараясь грести без всплесков, огибаю лачугу Сереги, приковываю лодку, сарай не открываю. Иду на ватных ногах к дому. Циновки держу под мышкой, хочу с утра рассмотреть, что же все-таки отобрала Файка. В пристрое слышу рыдания. Даже нет, скулеж. Словно щенку перебили лапу, и он уже устал скулить и только поскуливает. Вместе с дыханием. Вдох – выдох. Вдох – выдох.

Рыдает Ксюха. Она лежит на моей постели, мокрая от недавнего купания и рыдает. Я откладываю циновки, сажусь рядом, нащупываю мокрое плечо, тянусь за полотенцем, вытираю ее. О чем тут говорить? Рядом с женщинами, даже маленькими, нужно уметь молчать. Особенно, когда они в слезах. Молчать и быть с ними. Уходить, когда они хотят, чтобы ты ушел, но оставаться поблизости. Слушать и слышать то, что они говорят, что не говорят, и что не хотят сказать. И ни словом, ни жестом не давать понять, что ты слышишь больше, чем тебе разрешено. И всегда помнить, каким было вот это рыдающее существо, да-да, то самое, которое уже умеет курить, и способно говорить гадости, и делать гадости, и способно обидеть смертельно, и испортить жизнь кому угодно, в первую очередь самой себе, всегда помнить, каким оно было лет пятнадцать назад. Как оно ело кашу с ложечки, как

сосало мамкину грудь, как играло с собственными пальчиками, а потом радовалось игрушке, книжке, платью...

Я наклоняюсь и тыкаюсь носом в ямочку на шее. Целую. Прижимаюсь колючей щекой. Ксюха поворачивается, обнимает меня, прижимается, сильно прижимается, так, словно хочет забраться внутрь меня и начинает понемногу успокаиваться. И я обнимаю ее и глажу. Поддерживаю. Держу. Держу на весу.

Уже ночью, когда на небо выкатывает луна, Ксюха успокаивается окончательно. Завертывается в одеяло, садится рядом, кладет голову мне на плечо. Говорит тихо.

– У тебя мамка первая?

– Нет.

– А ты у нее?

– Спроси у мамки.

– А ты никогда не жалел, что вот с теми, кто был у тебя до мамки. Ну, что не вышло? А?

– Понимаешь, до мамки у меня не было ничего... серьезного.

– А что такое "серьезное"?

– Это когда глубже, чем просто так. Глубже. Когда под кожу. Внутрь. Понимаешь?

– А если все под кожу? Как отличить?

– Не знаю.

– Как ты отличил?

– Что?

– Что мамка та самая?

– Никак.

Разве она та самая? Разве вообще была в моей жизни та самая?

– Так чего же? – Ксюха чуть отстраняется. – На удачу?

– Не знаю.

Я ведь правда не знаю.

– А глупый вопрос?

– Валяй.

– Если бы снова, ну, на двадцать лет назад?

– Все так же.

– Почему?

Спросила так, словно ждала другого ответа.

– Потому что у меня есть вы. И мне нужны именно вы. Все. До единой. Поэтому никаких двадцать лет назад. Пусть все остается как есть.

– А мамка?

– А что мамка? – переспрашиваю я.

– Знаешь, – она вдруг ложится мне на колени грудью. – Вот Марк хороший вроде. Но он старый. Нет, ты не старый. А Марк старый. Ну, не сопи. Он младше тебя лет на десять. Ну и старше меня лет на двенадцать или тринадцать. Но он тусклый. Нет, так-то яркий, даже очень. И где надо горячий. Ну, не бери в голову, я же уже не маленькая девочка. Я давно не маленькая девочка. Но он тусклый, понимаешь? Ну, остывший. Как чай. Его можно разогреть до кипятка. Он сам

разогревается до кипятка, но он тусклый. Ему уже ничего не надо. Понимаешь? Нет, меня ему надо конечно. Но...

Я слушаю Ксюху, ужасно ревную ее к Марку, удивляюсь, какая она уже взрослая, вижу, какая она еще маленькая, и спрашиваю себя, а я разве не тусклый? Я разве не остывший?

– Я правда знаю место, где можно купаться голышом. Да вы не смущайтесь, я же не заставляю вас купаться голышом. И сама не собираюсь. Я только хочу научить вас плавать. Уж больно нелепо вы выглядите в этом спасательном жилете. Жарко к тому же. Лето!

Да. Лето.

Мы идем вдоль заводской ограды к городскому пляжу. Уже издали я слышу крики и визг. Половина Города пытается пережить жару, забравшись в воду.

– Сюда, – зовет меня Маша.

Она стоит у пролома в ограде. Я знаю этот пролом. Он ведет на южную часть территории, там склады готовой продукции, особая охрана, собаки. Туда даже Филимон не суется.

– Да не бойтесь вы! – она тянет меня за руку. – Мы же не воровать идем. Спокойно, не скрываясь, пройдем вдоль колючки к воде. Тут по выходным купаются многие из заводоуправления.

"Лидка", – подумал я.

– А в другие дни никого. Но охрана никого не трогает. Вот ночью я бы не советовала.

За натянутой колючкой и путанкой полоса в десять метров шириной, за ней опять колючка и путанка, а дальше склады готовой продукции, в которых я не был, и даже не

знаю, что за готовая продукция хранится внутри алюминиевых ангаров. В Городе никто не знает. Точно никто. Потому что самые страшные секреты вроде того, кто в заводууправление с кем поддерживает отношения чуть более близкие, чем дружеские, знает в подробностях даже Кузя Щербатый, а что хранится на складах, никто не знает. И про Лидку Кузя ничего не знает. Или говорит, что не знает. Мне говорит. А может быть, моя Лидка что-то вроде тех же складов с готовой продукцией?

– Да не бойтесь вы, днем они даже и не лают. Лучше улыбайтесь. Вам идет улыбаться. С улыбкой вы естественны. А когда перестаете, словно маску натягиваете.

Собаки лежат в пыли и жарко дышат, вывалив языки. На них строгие ошейники, от ошейников цепи ведут к кольцам, закрепленным на тросах. Тросы тянутся внутри колючки от столба к столбу. Невеселая жизнь.

– Сюда, – Маша раздвигает кусты сирени, влечет меня в сторону от утопанной тропинки. – Чтобы вы совсем успокоились, вот тут есть место, где не бывает вообще никого. Совсем. Но еще сто метров через бурьян. Только когда будете плавать, не кричите и не фыркайте, а то провалим явку.

За сиренью, за репейником, за ржавыми станками с ЧПУ, обвитыми хмелем, за крапивой (мне поднять руки, Маше ойкать с голыми коленками), за бузиной – крохотный пляж. Пятно чистого песка пять на пять метров в раме из реликтовой мягкой травы шириной метра в два. По бокам – непро-

ходимые кусты. У самой воды снова песок и мягкие волны. Большой пляж в стороне, его почти не слышно. Впереди только кочки островов. С этой стороны города нет ни одного ближе километра.

– Раздевайтесь, – говорит Маша и начинает расстегивать платье.

Утром Ксюхи уже нет. И Лидки нет. Ольга на кухне гремит чайником. Жанна, Зинка, Галка и Сонька о чем-то судачат во дворе. Точнее судачат Зинка, Галка и Сонька, а Жанна изредка резюмирует. И речь идет о Марке. Боже мой, они обсуждают его достоинства. Файка ковыряется у меня в ногах, пытается сообразить платье для плюшевого мишки из моего старого носка. Из чистого носка, разумеется. Поднимает на меня глаза.

– Не бери в голову. Они и не о таком говорят. Подожди. Они еще будут сравнивать тебя с Марком. Просто про тебя они говорят шепотом.

– И ты это слушаешь? – ужасаюсь я.

– Я бы заткнула уши, но с затычками ходить неудобно, – признается Файка. – А потом мне это неинтересно. Пока неинтересно. Но скоро будет интересно. И вообще, лучше бы они об этом у Ксюхи спросили.

– А где Ксюха?

– С мамкой уплыла в Город. У мамки деньги появились, хотят что-то Ксюхе купить.

"Хотят что-то Ксюхе купить", – повторяю я про себя и, кажется, радуюсь.

– Ты куда? – спрашивает Файка, видя, что я одеваюсь.

– К сараю, – отвечаю я. – Надо сшивать сумки. Ты пой-

дешь?

– Нет, – пыхтит Файка. – Надо мишке носок на голову натянуть.

– Кровать уберешь?

– Ага.

– Точно сможешь?

– Точно!

Мишка отброшен, ладошки у глаз. Точно что-то затеяла егоза. А не проверить ли мне Ольгу?

– Скажи Ольге, что я ушел в сарай. Пусть попозже принесет мне чего-нибудь перекусить. Скажешь?

– Ага.

Кивает, а ладошки от глаз не убирает.

– Ну, говори, что у тебя?

– Пап, а что такое сюрприз?

– Сюрприз? – я думаю. – Хороший или плохой?

– Просто сюрприз?

– Сюрприз – это такой неожиданный подарок, – я подбираю слова. – Внезапная... радость, которой не ждешь. Что-то интересное, нужное, ценное, доброе, о чем ты не знаешь, но что тебе приготовил твой близкий человек.

– Понятно, – убирает ладошки от глаз Файка. – А то утром мамка с Ксюхой собирались в город, Ксюха что-то спросила у мамки, а та ей ответила, что для женщины всякий мужик как сюрприз, пока штаны не снимет, не узнаешь. Пап, а у тебя тоже в штанах бывает сюрприз?

Ольга появится ближе к обеду. Вместе с Сонькой. Я уже успею раскроить все оставшиеся циновки и буду усердно их клеить. Клей варится тут же в котелке. Сонька морщится от запаха, переворачивает пустой ящик, стелет на него тряпицу, берет из рук Ольги сумку и быстро и аккуратно расставляет – бутылку с чаем, два куска хлеба, сало, зеленый огурец, лук, соль, два вареных яйца. Делает шутливый книксен и, не говоря ни слова, топает по своим делам. Маленький идел женщины. Ольга ставит к ящику вторую сумку.

– Ленты. Кирьян был с час назад. Просил передать. Сказал, чтобы ты не расслаблялся, и он завтра-послезавтра все заберет. И чтобы ты не забыл про обещанный эксклюзив. Цена будет выше. И что даже много гнать не нужно. Если все срастется, то чем меньше, тем дороже.

– Хорошо.

Она подходит ближе.

– Ты постель не убрал, я убрала. А Сонька посоветовала отнести тебе поесть. Садись, я помогу.

Ольга может. Они все рукодельницы. Лидка позаботилась, но Ольга лучше всех. Однажды села со мной плести, словно свежей водой меня окатила. Такие узоры, такие блики вывела, что и в голову не приходили. И теперь так же. И минуты не смотрела на мои руки, и вот же, присела к столу и делает

не хуже меня.

Я ем.

– Как думаешь, у Ксюхи все получится?

Я давлуюсь яйцом.

– Почему ты не спросишь: как думаешь, у Марка все получится?

– Марк уже получился, – объясняет Ольга, – Он уже. Понимаешь, уже. Остыл.

– Умер, что ли? – пытаюсь я пошутить.

– Нет, – Ольга думает. – В другом смысле. Он уже холодный. Отлит. Его можно уже выколачивать из формы. Он уже не изменится. А если переливать, то надо плавить. А плавить, значит разогревать как следует. И без гарантий. Вот скажи, Ксюхе оно надо?

– Бесполезно, – говорю я.

– Что бесполезно, – не понимает Ольга.

– Бесполезно плавить, – говорю. – Если только расплавить и расплескать. Уничтожить. Стереть в пыль. Это да. Лучшее средство. А под другую форму бесполезно.

– Почему? – настаивает Ольга.

– Человек не меняется.

– Это как же? – она поднимает брови. – Ну, не становится лучше? Не меняется в мелочах?

– Мы же не о мелочах говорим, – поправляюсь я.

– Подожди, – она хмурится. – Но если был человек нормальным, а потом запил, превратился в мерзавца. А это что?

– Запить может каждый, а вот мерзавцем надо быть изначально, – объясняю я. – Давай так. Забудем о том, что с кем стало, и кто кем стал. Забудем об обстоятельствах и превратностях. Возьмем обычного человека. Представь его как... механизм. У него есть набор функций или опций. Что-то он может, что-то нет. Что-то делает хорошо, что-то не очень. В разных обстоятельствах работают разные его функции, но они все имеют место быть. И останутся.

– Человек не механизм, – не соглашается Ольга. – А если ты ошибаешься?

– Конечно ошибаюсь, – не спорю я. – В конкретных случаях. Но в целом, нет.

– И какой ты? – она смотрит на меня пристально, перестает клеить мои сумки. – Какой ты, вот неизменившийся с юности, один и тот же. Какой ты?

– Я? – думаю с чего начать. – Я обыкновенный. И единственный. Изнутри единственный. Наверное, эгоист. Латентный. Всегда казалось, что я один. Остальные – как проекция. Функция. Образы. А материальный, настоящий – я один. Я не поменялся, просто понял, что не один. Но эгоизм остался, он всегда найдет какие-то дырочки, чтобы устроить фонтанчик. Потом я ленивый, сомневающийся, одновременно наглый, но с умом, хотя умным себя назвать не могу. Глупостей наделал в жизни много. Много вспоминать стыдно. Но без криминала. Но...

– Но... – оживляет меня Ольга.

– Но у меня, кажется, есть совесть, – думаю я вслух.

– И ничего не меняется? – уточняет Ольга.

– Все меняется, – улыбаюсь я. – Вот в эту минуту я совсем другой. А завтра обернусь на эту самую минуту и увижу опять все то же – эгоизм через самолюбование и самобичевание, глупость в том же самом, наглость, сомнения и лень там, где и всегда.

– А мама – это глупость?

Ведь глаз не сводит, паршивка. Молчу.

– Мама – это глупость?

– И да, и нет. Понимаешь, Глупость в той степени, в какой глупостью пронизано все. Глупость в том смысле, что глупы все, кто ищет одновременно и душевного и физического соития на всю жизнь, поскольку считает вечным преходящее. Но мудрость-то в том же самом. Нашел бы я семь золотых девчонок, если бы не споткнулся на этой глупости?

– Шесть золотых, шесть! – отрезает Ольга.

– Да сколько угодно, – улыбаюсь я.

– Послушай, – теперь думает, сомневается она. – Вот скажи. Тогда. Ксении семнадцать, значит восемнадцать лет назад. Тогда, когда ты начал ухаживать за мамой. За будущей мамой. За Лидой. На что ты надеялся? Что тебе давало уверенность, что ты завоюешь ее?

– Разве я уже ее завоевал? – смеюсь я.

– Не отвлекайся, – морщится Ольга. – Почему ты смел надеяться, что она станет твоей? И что ты хотел ей предло-

жить?

– Ты сейчас о брачной раскраске самца? – пытаюсь пошутить я.

– Обо всем, – отрезает Ольга.

– Хорошо, – я вытираю пальцы, глотаю из бутылки. Опять пересластила Сонька.

– Хорошо. Я думал, я верил, я старался, я был лучшим.

– То есть? – не понимает Ольга.

– Послушай, – я морщусь. – Ты заставляешь меня говорить о вещах, которые я и сам все еще не могу обозначить точно. Это как огонь. Ты же сама начала с того, что Марк, к примеру, уже остыл. А я не был тогда остывшим. Я пылал. И я думал, что счастье мамы вот в этом моем огне. Ей только нужно откликнуться, согласиться. И тогда все будет хорошо. Во мне много огня, его хватит нам надолго. Очень надолго. Понимаешь, – я наклоняюсь к Ольге, – моя сила была в том, что я и вправду был уверен, что так, как люблю ее я, никто не будет и не сможет ее любить.

– В этом твоя глупость? – спросила Ольга.

– И в этом тоже, – вздохнул я. – Но больше всего в том, что я развел слишком жаркий костер. Ей не пришлось разводить свой.

– И? Твой костер прогорел?

– Нет. Не знаю. Нет. Но он ее уже не согревает. Давно.

– Может быть, она привыкла к холоду? – спрашивает Ольга.

- Может быть, я привык к холоду? – отвечаю я ей.
- То есть, все? – разводит она руками. – Все, значит, все? Я думаю. Потом осторожно говорю.
- Не все. Но дальше, наверное, вот так.
- Не хочу так, – надувает губы Ольга.
- Я тоже так не хочу, – вздыхаю я. – А что делать?

– Раздевайтесь, – говорит Маша и начинает расстегивать платье.

Я путаюсь в пуговицах. Она отлично сложена. Не как Лидка, И дело не в возрасте. Хотя и в возрасте. У Маши чуть больше грудь, чуть уже бедра, но фигура не мальчиковая, а спортивная.

– Качалка, – объясняет она, поймав мой взгляд. – Тут на Заводе есть. Абонемент недорогой. Тренажеры. бассейн. Сейчас немного запустила себя, но тут, – она проводит рукой по плоскому животу, – даже были такие... квадратики. Ничего так?

– Много чего, – решаюсь я пошутить.

– Хорошо, – она подходит к воде, отворачивается, дает мне справиться с брюками. – Вода теплая, – переходит на ты, не глядя на меня. – Иди сюда.

У нее светлый купальник. В воде он сразу намокает и становится прозрачным. Я тороплюсь войти в воду по пояс. Мои совсем не плавательные трусы вздуваются пузырем. Она смеется. Ложится в воду у берега. Теплая вода чуть перекатывается через ложбинку спины. Я ложусь рядом. Она говорит тихо.

– Надо сначала привыкнуть к воде. Ничего нельзя делать насильно. Привыкнуть. Подружиться. Это как секс.

– Плавать – это как секс? – уточняю я. – Тогда я умею плавать.

– Файка – какой по счету ребенок? – спрашивает Маша.

– Седьмой, – гордо отвечаю я.

– Марафонец, – уважительно кивает Маша и улыбается. –

Или спринтер. Семь раз.

– Ну, это уж... – я пытаюсь развести руками в воде, получается, будто я похлопываю плавниками.

– Пошли, – она поднимается, показывает на мгновение ставший прозрачным треугольник трусиков и тянет меня за руку на глубину.

Дно на этом пляже песчаное, твердое и чистое. Редкость.

– Успокойся, – волны облизывают ее грудь. – Ничего страшного. Человек сам по себе плавуч. Чтобы держаться на воде нужно минимум движений. Когда научишься держаться на воде, тогда научишься плавать легко. Вот так.

Она вдруг изгибается, плавно входит в воду, только ступни ее словно хвост русалки на плече Сереги-болтуна брызгают мне в лицо прощальным бульком, потом словно огромная рыба оплывает мои колени по дуге, впереди вздувается пузырь, голова Маши, плечи, почти сползший лифчик, тонкие, но сильные руки.

– Вот так, – повторяет она. – А теперь медленно, очень медленно ложись спиной мне на руки.

– На руки? – удивляюсь я.

– Не бойся, – она берет меня за плечо. – Медленно, мед-

ленно.

У нее и в самом деле очень сильные руки. Или это я теряю в весе, погружившись в воду?

– Спокойно. Вот смотри. Ты лежишь в воде. Я тебя почти не держу. Нос, рот – над водой. Можно дышать. Это очень важное положение. Так можно отдохнуть. Долго плыл, устал. Полежал на воде, отдохнул, дальше поплыл. Усилий – минимум. Да. Вытягивай руки вдоль туловища. Да. И делай легкие движения ладонями вниз. словно отталкиваешься от воды. Легче. Еще легче. Видишь? Ты не тонешь. На спине можно и плыть. Но это не теперь. Теперь давай попробуем подержаться на воде спиной вверх. Сейчас ты перевернешься. Опять медленно. Голову при этом держи вверх. Но не туловищем ее поднимай, а за счет шеи. Понял? Давай. Медленно. Не бойся. Я держу тебя.

Я медленно поворачиваюсь.

Она ловит меня рукой за причинное место. Случайно. Замирает. Выдыхает в ответ на мой вдох. Я встаю ногами на дно. Она смотрит мне в глаза и запускает руку под резинку. Обхватывает под основание. Сжимает. Закрывает глаза. Говорит так, словно у нее пересохло в горле.

– Пошли на берег.

Ведет за собой. Как будто вдоль троса.

– Папка! Тебя мамка зовет! – кричит Галка.

– Иду, – я с трудом разгибаю спину. День удался. Да и Ольга хорошо помогла, пока не убежала купаться. Мало того, что в плотных связках лежат двести готовых сумок, так ведь еще и перетряхнул снопы заготовленного тростника, прикинул, сколько нужно накосить еще, да каких оттенков, и пару новых сумок успел сплести. Без углов, почти без ленты, с оплеткой только по верхнему срезу, с хорошими ручками. Опробовал плетение, без рисунка. В два оттенка – зеленоватый с золотым. Играет на солнце.

– Папка! – не унимается Галка.

– Ну, иду же! – отвечаю я, закрываю сарай и отправляюсь к дому.

Дома праздник. Девчонки примеряют обновки. Светло-голубое шелковое платье у Ксюхи. Очередная кислотная маечка и шорты у Ольги. Спортивный костюм у Жанны. Курточка с отражательными вставками у Зинки. Сарафан на лямках у Галки. Пляжный комбинезон у Соньки. У Файки ничего. Она сидит, надувшись, в углу. Я подмигиваю ей и прикладываю палец к губам. Все будет нормально, Фаина. Завтра же.

Протягиваю новую сумку Лидке. Берет, окидывает мгновенным взглядом, но не улыбается. Впрочем, хорошо уж, что

раздражение из глаз не плещется.

– Вот, – кладет на стол пакет. – Переоденься. А то ходишь как... Кузя Щербатый.

Я беру пакет, иду к себе в пристрой, открываю. Внутри рубашка-ковбойка, свободные джинсы, комплект белья, кроссовки, носки, суконная курточка-жилетка с кучей карманов. Переодеваюсь. Все впору, словно на меня сшито. Или мой размер не меняется, или Лидка иногда поглядывает в мою сторону. Иду в гостиную. Дочери уже накрывают на стол. Мое появление вызывает хор восторженных криков.

– Все за стол! – кричит Сонька.

Я споласкиваю руки у раковины, сажусь с торца стола, подхватываю подбежавшую Файку.

– Ничего не забыл? – смотрит на меня Лидка.

Все замирают. Я недоуменно оглядываюсь, показываю Лидке чистые руки. Виски и мочки ушей у нее белеют. Она суживает взгляд и начинает в тишине отчеканивать слово за словом.

– Сними жилет. За стол в верхней одежде не садятся. Сколько можно повторять? Сейчас же обляпаешь все...

Я опять на веслах.

– От любви до ненависти один шаг.

– Что ты сказал? – не понимает Файка. Она сидит на корме.

– Так, – мотаю головой. – Пустое.

– А... – кивает Файка. – Я тоже часто так... Говорю что-то, а получается пустое. – Она тяжело вздыхает. – А у тебя точно есть деньги?

Деньги у меня есть. С утра пораньше у сарая нарисовался Кирьян, без лишних разговоров забрал все сумки, посоветовал порезать на них же и последние десять циновок и "не заниматься больше разной ерундой". Потом показал липкие наклейки с чудными иностранными словами.

– Видел?

– Что это? – не понял я.

– Ты эти сумки не плел, понимаешь? Они импортные,

– Импортные? – все еще не понимаю я.

– С очень дальних островов, – поясняет Кирьян. – С очень-очень-очень дальних. Вот так.

Он снимает с одной из наклеек защитную пленку, приклеивает картинку на бок сумки, шуршит целлулоидом, превращая мое творение в заграничный продукт.

– Поэтому дальше все только через меня и только внутри

сарая! – шепчет Кирьян. – Чтобы никому. Держи деньги.

Я пересчитываю двадцать тысяч рублей, пихаю их в карман жилетки. Сейчас Кирьян закутает мои сумки брезентом и поплывет превращать продукцию народных промыслов в таинственный заграничный продукт и полновесные рубли. А я пойду в спальню, в которой не засыпал уже несколько лет, и вновь положу деньги в кружку с надписью "мама".

– Так, – таращит глаза Кирьян и выхватывает у меня последнюю сумку – двойняшку Лидкиной. – А это что?

– Вот, – пожимаю плечами. – Попробовал. Я же тебе говорил. Две штуки сплел. Вторая у Лидки.

– Сколько сделаешь таких в день? – почему-то переходит на шепот Кирьян.

– Две, – отвечаю я, потом прикидываю, морщусь. – Если сырье будет уже готово, да донышки заранее сладить, то и три.

– Мало, – чешет голову Кирьян. – Ладно! Посмотрим, может быть, дочек привлечешь, кому подзаработать надо. За такую буду платить двести. А пока в качестве премии. Вот.

Я получаю в руки еще две тысячи рублей.

– Лично от меня! – надрывно шепчет Кирьян, прыгает в лодку и толкается от берега. – Не пропадай, улыбочивый! У тебя золотые руки! И так даже лучше, чтобы без рисунка!

Двадцать тысяч я положил туда, куда и собирался. Две тысячи прибрал в карман нового жилета. Подхватил Файку и вот уже подгребаю к пристани. Десять циновок, которые

Файка отобрала, подмышкой, в кармане две тысячи, впереди шумный рынок, над головой утреннее солнце, которое уже почти превратилось в полуденное.

– Нравится? – показываю Файке платье.

На платье два кармана, куча желтых цветов на салатном фоне, оборки, рюшечки, но все в меру. Файка стягивает через голову выцветший сарафанчик седьмой доноски, ныряет в платье. Смотрит на себя в приставленное к столу уличного торговца зеркало, обнимает меня за ногу, утыкается носом в брючину, что-то шепчет. Я наклоняюсь, отколупываю от себя заплаканное лицо.

– Что ты говоришь?

– Потеряюсь, – отвечает Файка. – Я в этом платье потеряюсь на нашем лугу. Там тоже одуванчики.

– Не потеряешься, – успокаиваю я ее. – Сейчас мы еще купим тебе очень белую панамку и самые красивые сандаляки. Хорошо?

– И котенка, – просит Файка.

– И котенка, – соглашаюсь я. – Но если мамка выгонит меня с этим котенком из дома, тогда мне придется уйти жить в сарай.

– Давай сразу уйдем жить в сарай, – предлагает Файка, и я понимаю, что мне очень хочется жить с ней в сарае.

– Но только до зимы! – предупреждаю я ее.

– Так бывает, – пытаюсь я оправдаться. – У меня давно ничего не было. Поэтому так бывает.

Маша лежит рядом, уже без купальника, восхитительная и недоступная. Она улыбается. Не смеется, а улыбается. И я начинаю понимать, что ничего не случилось, просто и в самом деле "так бывает", тем более, что у меня и в самом деле давно ничего не было, а если и было, то без Лидки, а так, как водится, и вообще...

– Хочешь я возьму?

Я молчу.

– Скажи мне, я хочу, чтобы ты взяла.

Мне вовсе не хочется, чтобы она взяла. Мне хочется самому ее взять, выпить по капле, почувствовать губами и языком каждый изгиб ее тела и даже больше.

– Я хочу услышать.

– Да, – послушно хриплю я. – Я хочу, чтобы ты взяла.

– Вот, – довольно говорит она и изгибается надо мной.

Потом, когда я наконец вспомню, что такое "быть мужчиной", когда вспомню, каково это, когда снизу в твои крылья бьет горячий воздух, как легко лететь, когда снизу бьет горячий воздух, как долго можно пролететь, когда снизу бьет горячий воздух, и как прекрасно срываться в отвесном падении и снова взмывать, срываться и снова взмывать, потом,

когда она по-настоящему уставшая замрет возле меня уставшего в том же липком, свежем поту, как и я, и прошепчет что-то неразличимое, потом я вдруг спрошу ее:

– Зачем?

Она будет долго смотреть на меня, покусывая травинку, и когда я уже буду готов успокоиться, прошепчет:

– Просто так.

А когда мы уже одетые будем идти обратно вдоль колючей проволоки, добавит:

– Не заморачивайся. Когда я захочу тебя оставить, я скажу. Когда будет все, я скажу.

– Посмотри.

Она появляется не одна. Рядом с нею высокий молодой парень, который даст мне тысячу очков вперед. Определенно, я никогда не смогу ее любить так, как любит он. Конечно, если он ее любит.

– Посмотри, – она бросает на меня короткий взгляд, тайком показывает большой палец и разворачивает циновки. – Вот. Как тебе?

Он рассматривает их по очереди, потом смотрит на меня и снова рассматривает циновки. Щурится.

– Вам плохо?

– Нет, – с удивлением смахиваю капли внезапного пота со лба. – С чего вы взяли?

– Так, – он пожимает плечами. – Побелели что-то. Нет, Маш. В целом – неплохо, но сама стилистика не для современного интерьера. Тут ведь все сюжетные вещи. А нам бы подошло что-то не так уж четко оформленное, абстрактное. Понимаешь?

Она кивает, берет его под руку и они уходят. Файка, которая высунулась из-под прилавка в последний момент, замечает с какими-то почти старушечьими интонациями:

– Хороший парень. Но когда я буду в самом соку, он уже станет старичком.

– Вроде меня, – я собираюсь переложить циновки и заодно посмотреть, что выбрала Файка.

– Ты особый случай, – не соглашается Файка. – Тебя бы я выбрала в любом возрасте.

– И в любом состоянии, – качаю я головой. – Желательно спящим.

Из всех циновок Файка оставила десять одинаковых. На всех из них серым – вода, коричневатым – пузыри островов, зеленым – щетки тростника у берега. И все. Самые простые, самые слабые работы. Да, прав Кирьян, нужно бросать заниматься ерундой и плести сумки. Под последней циновкой листок бумаги. На нем ровным, уверенным почерком надпись: "Завтра у входа в Контору в двенадцать часов".

– Что там? – спрашивает Файка.

– Бумажка, – отвечаю я.

Вечером Лидка снова куда-то уезжает. Мы едим без нее. Ксения отварила макароны, Ольга из куриной тушки, помидоров, перца и еще чего-то изобрела чудный соус. За столом молчанье, только позвякивают вилки, да хлюпают девичьи рты, с шумом засасывая из тарелок длинные макароны. Лидка живо бы всех построила и прекратило свинство. Я наклоняюсь над тарелкой и с шумом засасываю сразу две макароны. Дочери следят за моими упражнениями с интересом, но повторить решаются только Сонька и Галка, остальные уже думают о фигуре. Фигура требует от них питания небольшими порциями, чтобы наполнение желудка не опережало насыщение. Файка переводит взгляд с Соньки на Ксению, и не знает, кому подражать. Наконец выбирает Ксению и продолжает чинно тыкать вилкой в тарелку. Понятно, что остается последней.

С криками – "морской закон" – дочери разбегаются, торопятся на вечернее купание, остается одна Ксюха. Она включает водонагреватель, моет посуду. Всю, кроме файкиной тарелки. Файкину тарелку всегда мою я. Так я поступаю и в этот раз. Файка блаженно разваливается на продавленном диване. Ксюха садится за стол, подпирает подбородок рукой, точно как Лидка.

– Ты не спросил у мамы, куда она отправилась, – напоми-

нает мне Ксюха.

– Угу, – вытираю я руки.

– Все еще не можешь простить, что она сделала аборт?

– ... сделала аборт?

Я мог бы работать эхом. Оказывается, это несложно.

– Пойдем, – Ксюха берет меня за руку и тянет за собой.

Как маленького.

– Вот, – она толкает дверь девичьей комнаты. – Смотри. Шесть кроватей. Моя, Ольгина, Жанны, Зинки, Галкина, Сонькина. Шесть, понимаешь?

Выпрямляет перед моим лицом шесть пальцев – по три на каждой ладони. Поворачивается к другой стене.

– Видишь? Шесть шкафчиков! Шесть! Пошли, пошли!

Теперь мы в гостиной. Оказывается, что в трильяже шесть полок с книгами и тетрадями. И настольных ламп, простеньких, с кривыми кронштейнами, тоже шесть. Я оборачиваюсь. Файка стоит на пороге и сосет леденец на палочке. В самом деле, все всего по шесть.

– Что ты молчишь? – спрашивает Ксюха.

– Корабль плывет, – отвечаю я ей.

– Не поняла, – морщится дочь.

– Корабль плывет, – говорю я. – Может, уже и мотор заглох, и парус порвался, но он все еще плывет. Понимаешь? Берег еще далеко, но виден. Не нужно бросать якорь, чтобы начинать ремонт. Лучше его бросить там, поближе у берега. Может быть, он доплывет и так.

Ксюха молчит. Только бледнеет, оттопыривает нижнюю губу и дует время от времени на собственное лицо. Потом медленно поднимается и уходит. Едва не сбивает Файку. Останавливается в дверях и произносит по складам:

– Я так не хо-чу!

Мы с Файкой устраиваемся в сарае. На коленях у нее котенок. Он, кажется, даже не умеет мурчать. Файка его учит. Я, к ее восторгу, развешиваю по стенам все десять циновок. Стелю на топчане принесенную из пристроя постель. Затягиваю окошко от комаров марлей. Зажигаю свечу. Кипячу на костре воду, завариваю чай. Достая купленный в Городе пакетик цукатов. Файка в восторге. Она сидит на топчане, гладит котенка, тянет из эмалированной кружки чай, хрумкает сладости и довольно смотрит по сторонам:

– Здесь очень хорошо. Давай навсегда переедем в сарай. Будем жить втроем.

Я плету сумки. Завтра мне будет некогда.

– Зимой в сарае будет холодно, – объясняю я Файке. – Зимой мы вернемся в дом.

– Вернемся, – соглашается Файка.

– А завтра я уплыву, – говорю я Файке. – Мне нужно в Город. Уплыву рано. Ты еще будешь спать. Не пугайся.

– Я не из пугливых, – жмурится Файка. – И я теперь не одна.

– Я закрою дверь сарая на крючок, – продолжаю я успокаивать Файку. – Крючок внутри. Я опущу его в петельку ножом. Так что ты будешь в безопасности.

– В безопасности, – смеется Файка, и мне кажется, что я

предаю именно ее. Не Лидку, не Ксюху, не Ольгу, не Жанну, не Зинку, не Галку, а вот эту малышку с засахаренными губами.

– Красивые сумки, – говорит Файка. – Ты все равно рисунок какой-то вытаскиваешь?

– Не могу по другому, – признаюсь я. – Иначе тоска.

На желтоватом боку сумки вода, тростник, лодка и девица фигурка спиной к зрителю. Она стоит в лодке и не решается прыгнуть в воду.

– Здорово, – шепчет, засыпая, Файка. – Мне сплетишь такую же?

– Обязательно, – обещаю я. – Лучше сплету.

– Не хочу лучше, – шепчет Файка.

Утром я просыпаюсь от настойчивого стука в окно. Осторожно снимаю с руки головку Файки, открываю дверь. За дверью Кузя Щербатый. Переминается с ноги на ногу, обращивается к своему дредноуту, собранному из пустых пластиковых бутылок. На дредноуте несколько охапок тростника.

– Деньги давай.

– Какие деньги? – не понимаю я.

– Кирьян сказал, что тебе нужен тростник, – морщится Кузя. – Разных цветов, не ломанный, а накошенный. Сказал, что если я наберу тебе копешку такого тростника, ты заплатишь мне сто рублей.

– Сто рублей?

Я вглядываюсь в нарезанные Кузей снопы. Половину конечно на выброс, но половина пойдет в дело.

– Ну, так будешь платить? – весь извелся Кузя.

– Буду, – отвечаю я.

Зачем меня принесло на рынок? Да, уплыл рано, чтобы не тащить с собой Файку, но до двенадцати еще четыре часа. Надо их куда-то деть, а то сердце зайдет. Поэтому я на рынке. Сажу рядом с Филимоном, закинув руки за голову, дремлю. Филимон долго молчит, потом все-таки спрашивает:

– Половички-то твои где?

– Продал, – отвечаю ему, не открывая глаз.

– То-то я смотрю, что в обновке, – сплевывает Филимон. –

А я вчера Лидку твою видел. И Кирьяна.

– Ну и что? – спрашиваю я.

Единственное, что может изменить мою жизнь, это новость, что кто-то видел Лидку мертвой. Хотя, если я продолжу так же плести сумки, то однажды смогу и сам умереть по настоящему. Ну, а если представить? Представить, что нет Лидки? Нет Лидки, и нет Ксюхи, Ольги, Жанны, Зинки, Галки, Соньки, Файки? Все есть, я есть, а их нет? Метеорит уничтожил остров? Цунами? Воронка засосала? И что дальше? Что дальше? Свобода? Нет, приятель. Смерть. Немедленная. Мучительная. И за эти мысли особенно. Никогда. Никогда. Никогда. Идиот.

– Ты чего по голове себя кулаками долбишь? – спрашивает Филимон. – По голове бесполезно. Поверь. Хочешь сде-

лать себе больно, щипай сам себя за сосок, да с вывертом. Вот ведь зараза, все что бабе на пользу, мужику во вред. Я говорю, что Лидку твою видел. И Кирьяна. Он ее на пристани подкараулил, сумку из рук считай, что вырвал, а ей в руки тысячную сунул. Ты бы поинтересовался, что за дела?

– Филимон, – спрашиваю я гончара. – Ты почему не женишься?

Филимон недовольно пыхтит. Потом нехотя отвечает:

– Ты бы еще Кузю Щербатого спросил, чего он не женится.

– Он никому не нужен, – отвечаю я.

– Ерунда, – сплевывает Филимон. – На всякий кусок дерьма муха найдется.

– Тогда повторяю вопрос, – почему-то я вовсе не боюсь Филимона. – Почему ты не женишься?

В этот раз он молчит дольше, потом вдруг шепчет:

– Я, улыбочивый, не могу так, как ты.

– А как я?

– Ты гнучий, улыбочивый. Тебя гнут, ты гнешься. Ветер подует, опять гнешься. Ветер перестал дуть, выпрямляешься. А я как горшок. Меня только разбить можно. А если не разбивать, то я сам кого хочешь разобью.

– Значит, так и будешь один маячить? – спрашиваю.

– Так и буду, – соглашается Филимон. – Если, конечно, единственную не встречу.

– А какая она должна быть, единственная? – спрашиваю я Филимона.

Он опять долго молчит, потом вдруг бросает:

– Как твоя Лидка. Или как твоя Ольга.

– А что тебя привлекает именно в них? – спрашиваю.

– Знаешь, какие перловицы у меня возле острова водятся? – вдруг сам спрашивает Филимон. – Когда вода спокойная, на мелкоте каждую можно разглядеть. Главное, Кузю Щербатого отгонять, потому что он, подлец, жрет их. Так вот, когда вода спокойная, я смотрю на них. Где помельче – совсем мелкие. Лежат, створки враспопырку, внутри что-то бело-розовенькое колышется. Это как раз как твоя Ольга. А чуть поглубже – большие. У них тоже розовое и белое внутри. Но они опытные, стерегутся. Щелку маленькую держат, или вовсе на замок и ни-ни. Вот эти – как твоя Лидка.

Повисает пауза. Я представляю лежащих на мелководье Лидку и Ольгу, Филимон тоже что-то такое же представляет, а потом вдруг говорит:

– Знаешь, почему у тебя с Лидкой не получилось?

– Это как же не получилось? – открываю я глаза. – Семь дочек!

– Семь? – сомневается Филимон, разжимает пятерню, вторую, долго загибает пальцы, потом раздраженно машет рукой. – Да какая разница? Семь, шесть. Я вот к чему. Да хоть десять. Дурное дело – нехитрое. Я про другое. Понимаешь, я хоть и не женат, но кое-что повидал. Родители у меня до сих пор живы, на Самом Большом Острове домик у них. Думают, что я тут чуть ли не начальник гончарной фабрики.

Пусть думают. Так вот, у них все не так, как у вас с Лидкой. Они другие. Я когда к ним приезжаю, поверишь, словно на солнышке погреться выбираюсь. Они когда друг друга видят, они светятся. Радуются друг другу. Понимаешь, жизнь – такая штука, все время откуда-то может ударить. Ветер песчинку несет, раз тебя по щеке, вот уже царапина. Так вот секрет в том, что нужно залеплять царапины, а не расковыривать. Понимаешь? Сколько живешь, столько и залеплять. Но не на себе, а друг на друге. И не откусывать ничего друг от друга. Залеплять. А если откусывать, тогда люди превращаются в огрызки.

– Я не откусывал, – говорю я.

– Но и не залеплял, – пожимает плечами гончар. – Обиделся, наверное, что тебя не залепляют, а то и прикусывают при случае. А тут ведь как, отвечать за себя надо. А с остальным уж как повезет.

– Знаешь, – говорю я гончару, с которым и не говорил толком никогда. – Знаешь, Филимон. А ведь бывает и так. Вот живут двое. Была любовь, не была, или срослось просто и застыло, неважно. Вместе живут. И один любит, а второй терпит. И чем больше один любит, тем больше второй терпит. И чем больше он терпит, тем больше ненавидит того, кто любит. И тот, кто любит, вдруг понимает, что уже не любит. Устал любить. Не может больше. Но и не любить не может. Потому что срослось. И что тогда делать?

– Вот этого я и боюсь, – вздыхает Филимон. – Потому что

если что, я раз залеплю, второй, а потом ведь и убить могу...

В двенадцать я у Конторы. Жду. Сердце колотится так, что впору виски пальцами зажимать. Мальчишкой так не волновался. И ведь и любви никакой нет. Просто словно родник эта самая Маша. Припасть бы и не отрываться. Пока зубы не заломит.

– Второй этаж, третья дверь справа, – выглядывает Маша в окно. – И быстро!

Взлетаю по лестнице. За дверями стрекочат машинки. В коридоре накурено. На третьей двери справа надпись – "Секретная часть". Машка высовывается в коридор, быстро оглядывается, хватает меня за карман и затаскивает внутрь, и еще защелкивая дверь, уже припадает к моим губам и пьет так же, как и я хочу пить из нее.

Потом, через час или через два часа мы сидим голые на кожаном потертом диване, пьем остывший чай и трогаем, трогаем друг друга, словно хотим убедиться, что мы есть. И я понимаю, что это конечно не любовь, но если и бывает любовь, то вот это отличная почва, чтобы она выросла. В такую почву и циновку брось, корнями и побегами разветвится. Но надо ли?

– Знаешь, – она смотрит на меня с каким-то странным смешком, словно боится моей усмешки и играет на опережение. – В тебе-то ничего особенного так вроде и нет. Но

вот когда живешь, живешь, живешь, а вокруг все каменные истуканы, каменные истуканы, каменные истуканы, и вдруг бац – живой человек. Тогда уже все равно, кто он. Понимаешь?

– Примерно, – отвечаю я. – Хорошо, что ты появилась. А то я уже задыхался.

– Так плохо? – делает она участливое лицо, и я мгновенно понимаю, что плакаться нельзя. Нельзя плакаться.

– Нет, нормально, – отвечаю. – Просто хочется чего-то для души. Чтобы раствориться. Очень нужно.

– Да, – тянет она и откидывается назад, кладет ноги мне на живот.

Я ловлю ее ступни, ловлю ее удивительные, узкие ступни с невозможно длинными пальцами, наверное в два раза длиннее моих, поднимаю их и вдруг заглатываю большой палец, второй. Вылизываю. Сосу. Пью. И она замирает. Бледнеет, Изгибается. И шепчет, шепчет, срывая голос:

– Как, как ты догадался? Как ты догадался? Да!

Я бреду к пристани, где причалена моя лодка. Мимо катит тележку с горшками Филимон.

– Улыбчивый, а Лидка-то моторку взяла. Почти катер. С хорошим мотором.

– Да, я знаю, – вру я Филимону.

– Как дела? – ловит меня за локоть Кирьян уже у лодки.

– Нормально, – отвечаю. – Вчера сел, запозднил, но три сумки сообразил.

– Вот! – радуется Кирьян. – Новая жизнь, улыбчивый! Твоя Лидка, я слышал, моторку купила? То ли еще будет!

– Да, конечно, – соглашаюсь я и сажусь на весла. Гребу. Потом бросаю их, опираюсь локтями на колени, просто смотрю вокруг. Над моим островом торчит маяк. В маяке сильный, но тусклый Марк. Ни капли жира. А ведь он работал тогда на Заводе. Я же помню. Да, я попробовал, но не смог. Когда уходил, видел смуглого паренька. Он тогда еще так странно на меня смотрел. Когда это было? Ольге пятнадцать... Ну как раз. Ксюхе был год, Лидка все не могла ее от груди оторвать, но сосала Ксюха лениво, не хотела Лидкину грудь рассасывать, а от смесей отказывалась. Вот уж я тогда попрыгал с молокоотсосом вокруг Лидки. Да и самому приходилось прикладываться, чтобы грудь спасти. Ничего, кстати особо приятного в этом не было. А потом родилась Ольга

и работала отличным молочным насосом целых полтора года. А остальные дети все как Ксюха. Только Файка другая. Что-то я не помню, как она сосала Лидкину грудь.

А потом Марк перебрался на маяк. Подстрелил, что ли на этом Заводе кого-то не того, не помню. Спрятался на маяке после смерти Рыжего, который все грозил мне пальцам, – упустишь Лидку, улыбчивый, упустишь, да так там и остался. Я еще ревновал тогда, даже присматривал. А Лидка тогда только румянилась. Все хорошо тогда было. Как мне говорил лет десять назад Кирьян, знаешь, говорил, улыбчивый, когда передернешь с какой-нибудь девицей где-то по случаю, дома – просто райский сад. Чувствуешь вину, что ли, начинаешь ухаживать за женой, она прям расцветает. Со всех сторон польза.

Польза, значит. А теперь Марк с Ксюхой. Может быть, поэтому Лидка злая? Она же видеть меня не может, я чувствую. Но уйти не могу. Некуда уйти. Я на острове. А и уйду? Далеко ли уйду? Меня же эта цепочка из семи звеньев прочнее любой другой цепи держит.

Лодку сносит. День клонится к закату, но еще держит в запасе часа два. Файка, наверное, сидит на лугу. Гладит котенка. Одуванчики опять обрывает. Она их обрывает, а они не убывают. Она их обрывает, а они не убывают. Какие же все-таки живучие растения случаются. А тут – поливать перестали, и ты уже деревенеешь...

Что делать? Да ничего. Или я сам Лидке не изменял?

Случалось. Всегда странно, быстро, случайно. Ни сердцу, ни чреслам. Что-то непонятное. Это по молодости простоты и яркости хочется, а потом-то уже глубины. Без взгляда и голоса, без глаз и губ, без того, что тонет в этих глазах, и того, что звучит на этих губах, вроде и не женщина перед тобой.

Рыжий много умных вещей говорил. Подзывал иногда меня, вытягивал ноги с больными коленями и говорил:

– А ну-ка, заберись, улыбочивый, наверх да зажги лампу. Вечереет. А я тебе что-нибудь умное расскажу.

Я, конечно, поднимался. Двести ступеней, что мне это тогда было? А когда Рыжий умер, радовался, что отсчитывать их больше не придется. А то ведь был бы теперь как Марк, без единой капли жира.

И такой же тусклый.

А разве я теперь не тусклый?

Маша сказала...

В окно сказала, когда я уже вышел на улицу.

Слетел со ступеней. Не носом вниз, а как бы ни наоборот. Словно крылья выросли за спиной.

В окно сказала:

– Пока.

Нет, я, конечно, и по собственному разумению всегда балансировал между дураком и придурком. Лидкиных желаний так и вовсе никогда не угадывал, как ни пытался. А тут понял сразу.

– Пока.

Четыре буквы. Зачем эти четыре буквы, когда уже и попрощались наверху, и еще раз попрощались, и уже условились о другой встрече, и опять едва не упали на диван? А затем, что все.

В смысле "Пока".

– Ты многого хочешь, – сказал Рыжий. – А кто многого хочет, тот мало получает.

– А кто хочет малого, тот не получает ничего, – смеялся я тогда.

– Нет, парень, – качал головой Рыжий и гладил колени. – Это уж как кому повезет. Внутри, ты, конечно, можешь мечтать о разном. Но уж если глазки открыл, тогда довольствуйся. Понимаешь?

– Нет, – почти всегда отвечал я Рыжему.

– Довольствоваться – это, значит, получать удовольствие, – смеялся Рыжий. – А если ты довольствоваться не хочешь, тогда нечего и на удовольствие рассчитывать.

– Эй! – слышу я голос Кузи Щербатого.

Голос, а за ним характерный бульк.

– Эй, – тужится Кузя. – Спишь, что ли? Тростник еще нужен? А то я мигом. Да, улыбочивый, ты не знаешь, что можно съесть от изжоги? У меня на стальные шарики какая-то странная изжога образовалась...

Улыбчивый. Я трогаю собственное лицо и не нахожу улыбки. Берусь за весла и загребая не к лачуге Сереги, а к маяку, к пляжу. Там что-то белеет. Ну, точно, опять кто-то из девчонок оставил полотенце. Но моторки нет. Значит, Лидка еще не вернулась. Интересно, что она купила? И скажет хоть что-то? Раньше я все пытался разговорить ее, но всякий раз это заканчивалось скандалом, руганью. Самым лучшим оказалось твердить про себя, что она молодец, что она тащит семью, что женщина всегда в проигрыше, потому что все мужики козлы, и я тоже, конечно же, козел, так что бодать можно только самого себя, да и вообще...

Я чалю лодку к песку, выхожу на берег.

Полотенце висит на воткнутом в песок суку. Под ним бумажка. На ней выведено рукой Жанны:

"Папка и мамка. Мы с Марком поехали кататься на моторке и купаться на городской пляж. Вернемся с сумерками. Не волнуйтесь. Ксения. Ольга. Жанна. Зинаида. Галка. Софья".

Понятно. Отправились без Файки. А она, выходит, осталась одна. Может быть, даже в сарае. Ее хоть покормили? Я бегу в дом. Обыскиваю комнаты. Файки нет. В пристрое у меня холодеет в груди. На моей кровати лежит Файкино платье, сандальки, панاما. В панаме спит котенок. Я бегу к сараю. Вхожу внутрь. Файки нет. Три сплетенных мною ночью сумки висят на гвозде. Файкина чашка полна холодного чая. Луговина полна одуванчиков. Одежда на кровати вся с этикетками и в пакетах, ненадеванная.

Я бегу к маяку. Отсчитываю ступени, перехватываю поручни. Наверху Файки нет. Снова бегу в дом. Считаю кровати. Шесть кроватей. Ничего не понимаю.

Что мне сказала однажды Сонька? Самая маленькая до Файки. Но уже пять лет не самая маленькая. Она сказала ни с того, ни с сего:

– А я знаю, как буду мужа выбирать.

– И как же? – спросил я ее.

– А как увижу того, на кого должны быть похожи мои дети, так и скажу: "Привет мой муж. Иди сюда".

– А если он не пойдет? – спросил ее я.

– Не знаю, – вздохнула Сонька. – Над этим я еще не думала. Но способ, в принципе, верный.

Я иду мимо дома, мимо сарая, по берегу, через лопухи к лачуге Сереги. Нет, бывший болтун не мог обидеть Файку, но на всякий случай. Мало ли. Потом ведь не прощу себе. Впрочем, я себе и так уже ничего не прощу.

В лачуге Сереги сопение. Я осторожно открываю дверь. Моя Лидка голая стоит на коленях, и Серега старательно обрабатывает ее с тыла. Держит за бедра и колотится о них своими чреслами. И Лидке это нравится. Сколько уж лет я не слышал вот этого сладостного полустона через стиснутые губы и шумного дыхания через нос. Они оба взмылены. "Се-реженька", – шепчет она ему. Потом вдруг открывает глаза, видит меня, перекашивается, наливается слезами и горячо шепчет:

– Не-на-ви-жу!

Я выхожу на воздух. Бреду к пляжу, на котором сук, полотенце и записка. На ходу сбрасываю жилет. Жарко. О чем же я говорил с Машей перед лестницей и этим "Пока"? Да, что-то плел насчет того, что неизвестно, как быть. Вот, к примеру, кто-то влюбился в кого-то. Но у кого-то имеется жена. И он не может ее оставить. Даже независимо от детей. Но никак. Трудно. Трудно раздавить человека.

– Надо оставлять, – строго сказала Маша.

– Почему? – спросил я ее.

– Да просто, – хмыкнула она. – Смотри. Сейчас несчастны трое. Он. Его жена. И его любовница. Примем за основу, что мы рассматриваем классическую схему. Без отягощений. Итак, несчастны трое. Он уходит к любовнице. Он счастлив. Любовница, скорее всего, счастлива. Ну хотя бы пока. Несчастлива только жена. Но и она, опять же, изменила позицию к лучшему, имеет шансы на счастье. Понимаешь? Было три черных шара, остался один. Все просто. Нужно поверять гармонию алгеброй. Выручает.

Гармонию алгеброй.

– Файка! – шепчу я, но с ужасом понимаю, что мой шепот вдруг оборачивается криком, разлетается в стороны, ударяется об острова Кузи и Филимона и возвращается еще более громким эхом – "Ненавижу!".

Становится темно. Между нашим островом и островом Кузи Щербатого клубится белый, непроглядный туман. Серега-болтун однажды попал в такой. Вернулся к полудню – волос белый, лицо в морщинах, руки трясутся, на плече татуировка – баба с рыбьим хвостом. Я тоже хочу такую на плечо. Похоже, удачу она приносит. Тем более, что плавать я уже умею.

Я сбрасываю новую ковбойку, новые джинсы, кроссовки и вхожу в воду. Пятки щекочет ил. Ил я не люблю, поэтому почти сразу ложусь на воду и плыву. Я плыву! В самом деле плыву! И белый туман становится все ближе и ближе. Все ближе и ближе...

– Файка! – захлебываюсь я от счастья.

Моя пятилетка подкараулила меня на диване, запрыгнула на живот и принялась месить крохотными кулочками мне ребра. Я рычу и изображаю свирепого медведя. Дочка визжит. Что за Файка? Какое странное слово? Дочка! Доченька! Дочурка! Солнышко мое! Нет, дочка – самое оно. Один ребенок, конечно, это мало. Надо бы еще и парня соорудить. Но дочка – класс!

– Алле! – кричит с кухни жена. – Сонная команда! А ну-ка на помощь! Чайник свистит, а у меня руки в муке.

Мы с дочерью наперегонки мчимся на кухню. Моя половинка и в самом деле в муке. Лепит пельмени. Смотрит на меня и смеется.

Я ловлю дочь, отодвигаю ее от страшной плиты и жгучего чайника, выключаю газ, снимаю с носика чайника свисток, смотрю на струю белого пара и пытаюсь что-то вспомнить. Что-то очень важное. Очень. Однажды я вспомню.

"Нет, дружок! – Это проще,
Это пуще, чем досада:
Мне тебя уже не надо —
Оттого что – оттого что —
Мне тебя уже не надо!"

Марина Цветаева

3 декабря 1918

2012 год

Баг

Они не должны были встретиться. Он жил в деревушке недалеко от города Новопетровска, она – в деревушке под Рязанью. Но когда ему было десять, они чуть было не столкнулись. Мать вывезла его в конце лета в Москву – купить что-нибудь болоньевого ребенку на осень, а ее родители именно в этот день таскали восьмилетнюю дочку за руку по галереям ГУМа, рассчитывая подобрать девочке что-нибудь приличное на ноги. В два часа дня осатаневшая от диких очередей и духоты "Детского мира" его мать волокла сына по Никольской к ГУМу, потому как ничего подходящего в "Детском мире" не обнаружилось, а в это же самое время по той же Никольской ее родители шагали из Гума в Детский мир, потому как с обувью в ГУМе тоже как-то не сложилось. Она гордо восседала на плечах молодого отца и еще издали заметила невысокую женщину в старушечьем платке, за которой утомленно шагал долговязый черноволосый подросток. Он ее не успел заметить, да и она не успела к нему приглядеться, хотя ощутила какое-то смутное беспокойство. В самом начале Никольской от раннего пробуждения, тесного автобуса, грязной электрички, духоты, очередей и мамкиного несчастного лица у него вдруг пошла носом кровь. Мать заткнула ему нос платком и потащила его в аптеку, которая как раз в начале Никольской и находилась. Она повернула

голову, посмотрела на исчезающий за тяжелыми дверьми силуэт, на пятна крови на августовском московском асфальте и забыла о нем.

Через четыре года они отдыхали в одном пионерском лагере, но через смену. Поэтому он целовался в беседке не с нею, а с рыжеволосой Оленькой из города Солнечногорска, а она дала пощечину за попытку запустить ей руку под майку не ему, а кудрявому Вадику из Электростали. Впрочем, дала бы она пощечину ему, и полез бы он к ней под майку, представься ему такая возможность, неизвестно. Однако выведенная его рукой на скамейке химическим карандашом надпись – "Оля классно целуется" – ее заинтересовала и не выходила из головы целых три дня.

Еще через три года судьба развела их вовсе в последнюю секунду. Он вновь приехал в Москву, на этот раз без мамы, чтобы поступить в институт. Сдал почти все экзамены, но на последнем повздорил с экзаменатором. Не согласился с его выводом и принялся яростно доказывать собственную правоту. Экзаменатор обиделся на мгновенно вкипающего юнца, приехавшего из глухой подмосковной деревни, и стал задавать ему дополнительные вопросы, по итогам которых абитуриент должен был отправиться не в аудиторию, а на призывной пункт. Взмокший и расстроенный он долго бродил по окраинным улочкам столицы, пока не вышел к станции Петровско-Разумовская, не сел на электричку и не приехал на Ленинградский вокзал. Побродив между ним и Яро-

славским, он спустился в метро и отправился к Кузнецкому мосту. Там он любовался в угловом магазинчике музыкальными инструментами и двинулся к укромной пельменной, что находилась в проезде Художественного театра. Заказал двойную порцию пельменей с маслом, взял чай, булочку за три копейки, отметив таким образом свой первый провал. Когда он уже поел и шагнул к выходу, очередной посетитель споткнулся и опрокинул ему на грудь порцию пельменей с уксусом. Ему потребовалось полминуты, чтобы вытереться салфетками, умыться и застегнуть под горло ветровку. Именно этой половины минуты ему не хватило, чтобы увидеть ее. Она шла вместе с сестрой и ее женихом из салона для новобрачных, что располагался напротив "Детского мира", по тому же проезду Художественного театра к Центральному телеграфу, чтобы звонить домой и хвастаться купленным платьем. Когда он вышел из пельменной, она как раз проходила мимо входа в МХАТ. На мгновение он замер, разглядывая стройный силуэт в легком платье, но время уже уходило, и он побежал к метро.

Осенью он ушел в армию, а она поступила в сельскохозяйственный техникум, где ей приходилось работать в учебном хозяйстве, и где однажды корова, дернувшись и потянув цепь, срубила стальным звеном крайнюю фалангу с ее указательного пальца. Он отслужил два года от звонка до звонка. Испытал многое, кое-чего не хотел бы вспоминать сам, кое-что не хотел бы, чтобы вспоминали другие, но мерзав-

цем вроде бы не стал. Одно лишь щемило в сердце – командир части наградил его благодарственным письмом к матери, а обалдуй-лейтенантик письмо похерил. Не стал заниматься. А он постеснялся напомнить.

Она эти два года, пряча покалеченную руку в карман, ходила на танцы, целовалась с ровесниками, в грязной общаге под пару бутылок портвейна на казенном белье распрощалась с девственностью и иногда грустила, что никого в армию не провожала, поэтому никакой предопределенности в будущем не имеет.

Через два года он ехал на верхней полке плацкартного вагона домой и вышел покурить на станции Рязань-один. Она ждала электричку через путь, но стояла к его поезду спиной, и он опять ничего не разглядел, кроме ее стройного силуэта, а возникшую в груди боль списал на понятное дембельское волнение.

Она повернулась к нему, когда уже подошла электричка и загородила поезд, но она села у окна с его стороны, и он мог бы разглядеть ее в окно купе, но двое суток в поезде вдруг вылились в тошноту и надрывный кашель. Теперь уже он стоял спиной к ней, открыв окно в курилке перед туалетом, дышал креозотом и сплевывал противный вкус рвоты, потому как туалеты были закрыты. В ту минуту он решил бросить курить и, прокуриив всего два года, и в самом деле больше не взял в рот сигарету до самой смерти.

Прошло меньше года, и он упустил самый верный шанс

встретиться с нею. Его мать работала поваром на турбазе. После армии он устроился туда же водителем, чтобы перекантоваться до очередной попытки поступить в институт. Везил продукты, белье в прачечную, которая была в Москве, сено, которое обязывали косить всех работников турбазы, как будто накошенное ими сено могло спасти отгнивающее сельское хозяйство умирающей империи. Там же под мудрым руководством дебелий бухгалтерши стал мужчиной. И именно на эту турбазу купили путевки, чтобы оторваться на последних в своей жизни каникулах, несколько девчонок, среди которых была и она. Но в тот самый день, когда она ехала на электричке из Рязани на Казанский вокзал, переезжала на метро с Казанского на Рижский, а с Рижского вновь на электричке ехала до Новопетровска, он сидел с удочкой на деревенском пруду, потом играл в волейбол на спортивной площадке, потом почувствовал озноб, потом жар, потом опять озноб, а потом свалился с дикой головной болью. Мать прыгала вокруг него с мокрыми тряпками с час, потом вызвала скорую помощь. Седая врачиха несколько минут щупала его, минуту смотрела на градусник, потом заставляла вытягивать ноги и тянуть подбородок к груди, потом делала еще что-то, пока в конце концов не диагностировала солнечный удар. Он толком ничего не понял, потому как боль застилала все вокруг туманом, но через три дня немного пришел в себя, после чего ранним утром миновал здание корпуса турбазы, в котором после бессонной ночи сладко спа-

ла она, и отправился в соседнюю деревню к бабушке, где и пролежал в тенистом саду в гамаке до конца больничного.

Через двенадцать дней она уехала обратно в Рязань, а он вернулся домой, уволился с работы и со всей серьезностью засел за учебники. В августе он поступил в институт электроники в Зеленограде и не имел никаких шансов встретиться с нею еще семнадцать лет. За это время он окончил институт, избежал профессионального и семейного распределения, устроился работать в телевизионное предприятие на окраине Москвы, вместе со всей страной попал в шторм, почти голодал, мотался челноком в Польшу, стоял на рынке, стоял у Белого Дома в девяносто первом году, плевался в телевизор в девяносто третьем, пытался торговать компьютерами, потом начал составлять какие-то сети, создал маленькую фирму, едва отбил от наезда бандитов, кое-что заработал, построил домик в Сходне, попал уже не под бандитов, а под ментов, сумел договориться, женился на милой сотруднице, которая через два года разбабела, но при этом оставалась милой, к тому же родила ему сына.

Она вышла замуж сразу после техникума и тут же поступила на бухгалтерские курсы, родила девчонку в двадцать два. В девяносто первом отдыхала в деревне, телевизор почти не смотрела, девчонка ее болела ветрянкой. В девяносто третьем развелась, стала работать в крупной строительной фирме сначала секретарем, потом кассиром, потом бухгалтером, после нескольких лет знакомства и долгих уговоров

переспала с директором и за свою же неуступчивость была взята в жены. В девяносто шестом родила второго ребенка, вместе с мужем, который благодаря смычке с чиновничьей братией пошел в гору, переехала в Москву.

Его дела вдруг пошли неважно, навалились проверки, в офис приехали какие-то странные люди, он дернулся к ментам, те ринулись помогать, но быстро остыли, сказали, что тут задействованы интересы кое-кого посильнее и посоветовали "делать ноги". Он дернулся к тем, кто посильнее, его тут же начали доить, но он быстро понял, что выдоят до дна и уничтожат, поэтому продал все, что мог продать, что осталось – переписал на жену и ребенка, а как только получил повестку к следователю – уехал в Германию на год. Год перебывался как придется, встретил знакомца по институту, тот пообещал ему протекцию в сотовой компании, которая как раз подминала под себя рынок, намекнул, что может решить проблемы и со следователем. Он вернулся в Россию, чтобы похоронить внезапно умершую мать, принял поздравления от соседей, что та ушла легко, не болела, не мучилась, приехал домой и обнаружил, что жена его уже живет с его бывшим замом, который, скорее всего, и оказался главной причиной его проблем. Дверь ему не открыли. Он долго стоял у ограды дома, построенного им самим, ждал, когда выведут на улицу сына. Сын разговаривал с отцом через забор. Мать стояла тут же. Он смотрел на нее и думал, что по-своему она права. Жизнь уходит, нужно как-то устраиваться. И

еще он думал о том, что дав волю ненависти, что бурлила в нем, если и не потеряет сына, то уж точно не принесет ему пользы. Сын был похож на зама. Такой же толстенький, белоголовый. Он говорил с его интонациями, его словами, его голосом. Мать ребенка согласилась не противиться встречам, но потребовала за это большие алименты. Он согласился платить, устроился на ту самую обещанную ему работу, и в самом деле стал неплохо зарабатывать, снял квартиру, но уже во время второй встречи с сыном почувствовал, что сыну неинтересен. Тот уже называл папой бывшего зама, который старался во время коротких встреч пасынка с его отцом улизнуть из дома, и явно тяготился старым отцом. После третьей встречи он решил больше к сыну не приходить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.